

**Военные
Приключения**

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА



ВЛАДИМИР ДРУЖИНИН

Владимир Николаевич Дружинин
Янтарная комната
Серия «Военные приключения (Вече)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=56805885

ISBN 978-5-4484-8287-8

Аннотация

Завершается Великая Отечественная война, вот и столица Восточной Пруссии пала под ударами Красной армии. Именно сюда, в Кенигсберг, гитлеровцы свезли огромное количество ценностей, похищенных ими из советских музеев и картинных галерей. Среди них и уникальная, прославленная на весь мир Янтарная комната...

В книгу одного из известнейших мастеров советской остросюжетной литературы включены повести, давно полюбившиеся читателям.

Содержание

Янтарная комната	5
Глава 1	5
Глава 2	15
Глава 3	25
Глава 4	39
Глава 5	44
Глава 6	62
Глава 7	71
Глава 8	83
Глава 9	94
Глава 10	100
Глава 11	109
Глава 12	115
Конец ознакомительного фрагмента.	119

Владимир Дружинин

Янтарная комната

© Дружинин В.Н., наследники, 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

«Военные приключения»® является зарегистрированным товарным знаком, владельцем которого выступает ООО «Издательство «Вече».

Согласно действующему законодательству без согласования с издательством использование данного товарного знака третьими лицами категорически запрещается.

* * *

Янтарная комната

Глава 1

Трое нас было... Уцелел я один. Сержант Симко погиб в Померании, старшина Алиев – под Берлином.

Как я выжил – сам удивляюсь! Вон он, на стенке, – тогдашний Леонид Ширяев. Не узнали? Да, тот молодой парень. Пилотку-то как заломил лихо! Лейтенантские погоны, как видите, совершенно новые, только что получены. Гордится он ими – страсть! Даже снялся вот, по случаю присвоения офицерского звания. Карточку сделала Вера, дивизионный фотограф, – «чудо-фотограф», как прозвали ее у нас.

Но речь не о ней.

Итак, трое нас вышли в разведку. Был 1945 год, апрель. Сырой, прохладный вечер.

Местность впереди открытая: поле, уже свободное от снега, небольшая рощица, а за ней – холм.

Задача наша – занять на холме наблюдательный пост. Провести там ночь, приглядываясь к тому, что творится на шоссе и в предместье Кенигсберга, а если представится возможность, то и взять языка.

Где-то справа подает голос наша батарея. Выпустит заряд, умолкнет, и тогда слышно, как бьют по сапогам головки про-

шлогоднего нескошенного клевера. Они обмерзли и колотятся громко, словно град.

Запал мне в память клевер. И туман. Он ждал нас в роще, где местами еще дотаивал снег. За рощей он немного поредел, а потом стал гуще, – мы спустились в ложбину.

Если бы не туман, не батарея, затихавшая только для того, чтобы перезарядить орудия и изменить прицел операция наша закончилась бы, должно быть, совсем по-другому. Да что операция! Вся жизнь моя пошла бы иначе. Короче говоря, стряслось конфузное для разведчика происшествие. Мы наскочили на немецкую траншею.

Прямо против меня стоял молоденький тощий солдат. В одной руке – саперная лопата, в другой – дохлая мышь. Должно быть, прикончил ее лопаткой и хотел выкинуть. А перед этим он долбил землю, и я, помнится, слышал смутный шум, но снаряды нашей батареи, завывавшие над головой, не дали мне как следует прислушаться. И вот теперь мы столкнулись лицом к лицу и оба оторопели.

В струйках тумана – еще немцы. И все с лопатками. Застыли, смотрят на троих русских, выросших вдруг у самого бруствера. Туман ползет, вьется, и немцы точно плывут, и все вообще – наподобие миража.

Что нам остается? Стрелять, убить как можно больше фрицев, а последнюю пулю – себе. Не даваться живыми...

Рука моя уже отстегнула кобуру. И чую, кожей чую, спутники мои тоже напряглись, приготовились к последней

схватке. Много дорог мы прошли вместе, сроднились. Сплавились, можно сказать, воедино.

Немец с мышью не шевелился. Испуг пригвоздил его. В него первого я и должен был выстрелить.

Но я не вынул пистолет. Счастье, что этот немец – отощавший, окаменевший от ужаса – маячил как раз передо мной. Он помог мне увидеть другой выход.

– Где ваш офицер? – крикнул я и шагнул на бруствер. – Мы советские парламентареры!

Крикнул, а сам соображаю – на парламентареров мы ведь явно не похожи. Ни белого флага, ни белых повязок на рукавах. И молоды слишком. Особенно – я.

В ту пору я еще стеснялся своего возраста. И внешности своей не доверял. Толстогубая, щекастая физиономия... Словом, в роль парламентарера я входил не очень-то уверенно. Сейчас, думаю, бросят они лопатки, поднимут винтовки, автоматы...

И чтобы не дать немцам опомниться, я опять заговорил. Слов немецких у меня не очень много, от волнения я путаю их, безбожно путаю, запинаясь, но чувствую, молчать нельзя. Надо как можно лучше объяснить им самое главное. Войну они проиграли. Кенигсберг окружен. Порт Пиллау отрезан, помощи ждать неоткуда. Не будет ее ни с моря, ни с суши.

– Складывайте оружие! Сдавайтесь в плен. Мы гарантируем вам безопасность!

Бывало, отправляясь в тыл противника, мы брали с собой листовки с этими призывами и там разбрасывали их. Для практики в языке я читал листовки и многое невольно заучил.

– Советская армия обеспечит вам жизнь, возвращение на родину после войны!

Надо бы иначе, по-своему, а я барабаню по-печатному, как урок! Эхма! Вот уже израсходован запас – весь, до самого дна. Я судорожно стараюсь припомнить еще какие-нибудь слова, но нет! Пусто! И я умолк.

Что теперь? Траншея безмолвствует. Солдата с мышью уже нет, на его месте – офицер, лейтенант. Высокий, в очках, весьма штатского вида. Что он ответит? Или ничего не ответит, а скамандует, и они откроют огонь...

– Ja... So... – протянул наконец лейтенант. Потом лицо его задергалось. Он выдавил несколько длинных, сбивчивых фраз. Я понял только, что вести переговоры он не вправе. Надо доложить командиру батальона.

– Веди, – говорю, – нас к командиру.

Сам думаю: «Неужели я еще жив? Чудеса!» – но уже начинаю осваиваться.

Немцы посторонились; мы перешагнули через траншею, и лейтенант повел нас по тропе, выбитой солдатскими ботинками, сквозь кустарник, одевший скат холма, на вершину. В сумерках забелел столб с облупившейся штукатуркой. Скрипит, стонет на ветру железная калитка, свернутая воз-

душной волной. За горелыми стволами сада – здание. Вернее, обломок здания.

На безглавой башне еще лепится кое-где выпуклый орнамент – крупные гипсовые раковины. Над входом, в узорчатой рамке, надпись: «Санкт-Маурициус». Кроме башни да стены с пустыми окнами, ничего не сохранилось от виллы.

Лейтенант ухнул вниз, в темный провал, мы – за ним. Неяркий луч метнулся из открывшейся двери. Мы вошли в помещение, освещенное круглой походной лампочкой. Она висела на толстом проводе, подтянутом к потолку от аккумулятора. Меня кольнуло. Трофейный аккумулятор, нашей марки! За столом немец в форме майора, седой, желтый от старости.

На впалой груди майора мерцали ордена. Их было много. Кроме гитлеровских наград я различил и другие, полученные, верно, в армии кайзера.

Майор с трудом приподнялся и снова сел. Ордена глухо стукнулись. Диковинно выглядел этот дряхлый командир батальона, нацепивший все свои регалии, точно для парада. Похоже, актер, играющий в каком-то зловещем спектакле.

Лейтенант доложил. Старик громко задышал, а затем стал быстро-быстро выпаливать слова. Сгустки слов. Я уразумел лишь «Deutschland», повторенное очень много раз.

– Имеется переводчица, – сказал лейтенант. Это было как раз кстати.

Между тем в подвал набирались люди. Они топтались по-

зади, но я не оглядывался. Я не выпускал из вида командира и лейтенанта. Дверь опять хлопнула. К столу приблизилась девочка в зеленоватой куртке, в берете с галалитовой брошкой – кленовым листком. Да, именно девочкой показалась она мне с первого взгляда... Детское курносое личико, пынышко пудры на пухлой щеке.

«Немка? Или из наших? Верно, русская, – подумал я с досадой. – Связалась с ними...»

Не знаю, точно ли передаю тогдашние свои впечатления, – мне и досадно было, и больно за нее. Ей бы еще в школу ходить, играть на переменах в жмурки, собирать открытки с портретами артистов, писать на ладошках перед экзаменом – «Килиманджаро», «Баб-эль-Мандебский пролив», как это делает моя сестренка Вика, эвакуированная из Калуги на Урал. Эта – ненамного старше Вики, а ростом такая же.

Майор все говорил, не глядя на нас, как бы про себя. Переводчица прижалась к резной спинке кресла, опустила веки, прислушалась, потом одернула курточку и сказала чисто, певуче, с мягким украинским «г»:

– Господин майор учитывает ситуацию на фронте. Он принимает ваше предложение.

– Прекрасно! – вырвалось у меня.

Конечно, парламентарю не полагалось давать волю своим переживаниям. Надо было реагировать по-другому – сдержанно, с достоинством.

Не ожидал я, что все сойдет так гладко. Ведь майор, ма-

терый служака, наверняка догадался, кто мы такие. Почему же он не захотел даже проверить наши полномочия? Но тут же я понял, что происходит. Никого мы не обманули. Всем немцам ясно – не парламентареры мы, а разведчики, налетевшие на позиции батальона в тумане, случайно. Пусть у нас нет белых повязок, нет отпечатанного текста капитуляции – это сейчас неважно. Вся суть в том, что Кенигсберг обречен, что войну они проиграли, что их солдаты, голодные готальники, драться не умеют и не хотят. Лейтенант наклонился к майору и что-то тихо проговорил. Наступила заминка.

– Просьба есть одна, – сказала переводчица. – Тут два обер-ефрейтора... Им, наверно, дали следующее звание и... Майор просит позволения позвонить в штаб дивизии, узнать. Он считает, они должны пойти в плен унтер-офицерами.

Слова она произносила недетские, из языка войны, строгие, мужские и от этого становилась как бы старше. И сходство с Викторией исчезло.

– Гадюка! – прошептал сержант Симко и поправил на плече автомат. – С Украины она, факт, товарищ лейтенант.

Однако как же быть? По мне что ж, и унтерам найдется место в плену. Я их понимаю. Сам недавно получил звание. Но вот звонок в штаб отсюда – это, пожалуй, рискованно. Нет ли тут подвоха?

Я заколебался. Между тем лейтенант уже потянулся к телефону. Переводчица открыла сумочку; в руке ее блеснули

ножницы – маленькие, отливавшие никелем и эмалью ножницы. В одно мгновение она оттеснила лейтенанта и... перерезала телефонный шнур.

Ловко!

Тут я поймал себя на том, что думаю о ней без гнева, скорее с любопытством.

– Господин майор не настаивает, – услышал я. – В данной обстановке... Вопрос не имеет большого значения.

Майор, к моему удивлению, кивнул. А ведь она на тот раз не переводила, сказала от себя. Лейтенант, которого она только что оттолкнула от телефона, тоже не противился. Он отошел в сторону и почтительно слушал ее. Э, да она не простая переводчица! Никак, она теперь распоряжается тут?

Майор встал, звякнул орденами и выронил на зеленое сукно стола револьвер. Рука старика дрожала.

Тогда мне было не до него.

Затем к моим ногам упал тяжелый автоматический пистолет лейтенанта. Еще пистолет. В тесном подвале поднялся оглушительный грохот. Офицеры сдавали оружие. Некоторые бросали его прямо в кобурах, вместе с ремнями.

Что чувствовал я? И ликовал, и дивился удаче. И глазам своим не верил. Неужели мы трое взяли в плен батальон фрицев?!

– Старшина! – повернулся я к Алиеву. – Расстели плащ-палатку и собери всё.

Руки Алиева, – смуглые, с тонкими пальцами, проворные,

прилежные руки, – укладывали оружие, завязывали узел. Еще сегодня утром он так же спокойно, старательно собирал у нас в разведроте зимнее обмундирование: теплые шапки, рукавицы, байковые портянки. А сейчас вот – оружие. Немецкое оружие. Это не сон, – мы действительно взяли в плен батальон фрицев. До чего же здорово!

Капитуляцию солдат мы принимали у траншеи. Винтовки я велел сложить в окоп и засыпать. Лейтенант выстроил солдат; старый майор подозвал двух обер-ефрейторов, вручил им лычки, погоны и поздравил.

Бедняги истово благодарили, и в глубине души я одобрил поступок майора. Парень я был незлой, хоть и стремился, по молодости лет, казаться человеком, ожесточившимся на войне, не ведающим жалости.

Я пересчитал солдат. Всего тридцать семь – негусто! Видать, батальон хватил огонька! Переводчица подала мне списки личного состава. Все это время, пока мы были у траншеи, она суетилась, совалась всюду и даже покрикивала на немцев.

– Из кожи лезет, – жестко молвил мне сержант Симко. – Прищемили хвост, вот и выслуживается.

Выслуживается? Нет, это мне не приходило в голову. Почему-то не приходило. Сержант продолжал в том же тоне, а я не знал, что сказать ему. Странное дело, одно только любопытство у меня было к ней, и ничего больше.

– Разберутся, – бросил я.

На переключке одного солдата не хватило. Лейтенант повторил имя:

– Кайус Фойгт!

Шеренга сумрачно молчала. В эту минуту подбежала переводчица, и лейтенант спросил ее, где Кайус Фойгт. «Она то при чем?» – подумал я. Оказывается, Фойгт – шофер. Он привез ее сюда и находится у своей машины. Числится в батальоне, а служит в другой части.

– Там, где фрейлейн Катья, – пояснил мне лейтенант. – Вы возьмете машину?

– Не возьмут они ее, – вставила переводчица. – Дырявая, как решето. Вы гляньте.

Я помедлил.

– Тут близко. – И она шагнула ко мне. – Идемте, прошу вас.

Она споткнулась о брошенный кем-то ранец, на миг уцепилась за меня. Что-то новое вдруг появилось в ее тоне, во всем ее облике.

– Товарищ лейтенант, – услышал я быстрый шепот, – идемте. Вы должны мне помочь.

Глава 2

Она так горячо, так искренне произнесла это «товариш лейтенант», что я не сделал ни одного протестующего движения и не перебил ее.

– Идемте! Идемте скорее! Там, на вилле... Надо показать вам...

– Что?

– Там ценности, – сказала она. – Вещи. Вещи из советских музеев.

Вещи! Только и всего! К вещам я относился с истинно солдатским пренебрежением. Музеи остались где-то далеко в мирной жизни, почти забытой. Посещал я их нечасто. На фронт я ушел восемнадцати лет. Как многие юноши, увлекался техникой. С искусством я был мало знаком. Не дорос еще. Не успел. И слышать о музеях здесь, у траншеи, среди раскиданных на земле ранцев, обшитых ворсистой шкуркой, среди алюминиевых фляжек, тесаков, было как-то непривычно и странно.

Однако мне все равно следовало провести ночь на высоте. Вести наблюдение до утра – таков был приказ.

– Пленных поведет старшина, – сказал я, вернувшись к своим. – Симко будет со мной.

Алиеву я дал инструкции. Передал свой разговор с переводчицей и велел доложить Астафьеву обо всем, не упуская

ни одной мелочи.

Симко хмурился. Переводчица раздражала его до крайности. Пока мы лезли на холм, он угрюмо молчал, сопел и бросал на нее свирепые взгляды.

С холма открывалось шоссе, стальное от лунного света, и фабричные трубы предместья. В полусотне шагов от виллы, за садом, под крутым откосом, стоял высокобортый, крытый брезентом, тупоносый грузовик. Несмытые белые полосы зимней маскировки покрывали кузов. Долговязый немец расхаживал взад и вперед по асфальту, подпрыгивал от холода и бил себя по бедрам.

– Это Кай, – сказала переводчица.

– Давай туда, – приказал я сержанту и указал ограду, нависшую над шоссе. – Заодно и на него поглядывай.

– Это русские, Кай, – сказала девушка по-немецки и так, словно речь шла о самом естественном. – Ты в плену. Тебе известно уже?

– Jawohl, – коротко отозвался Кай.

Все же я отобрал у Кая автомат и заглянул на всякий случай под брезент.

– Так вы Катя? – спросил я переводчицу, когда мы отыскивали вход в подвал.

– Катя. Катя Мищенко.

Понятно, мне хотелось знать о ней больше. Так и подмывало. Но я сдерживал себя. «Мало ли что она может сочинить, – строго внушал я себе. – Доставлю ее нашим – там

разберутся».

Между тем в душе я доверился ей. И это смущало меня. Поэтому я напустил на себя строгость, говорил с ней односложно, резко. Именно так, казалось мне, повел бы себя на моем месте Астафьев, командир нашей роты. Он был суровый человек, неразговорчивый. Я любил его и нередко подражал ему.

Круглый стеклянный пузырь на толстом проводе все еще светил в подвале. За креслом, где сидел старый майор, темнела глубокая, узкая ниша. В ней – фигура какого-то святого. Курьезная фигура – с черной негритянской головой, с черными руками.

Из соседней комнаты железная винтовая лестница вела вниз. Я зажег фонарь. Мы спустились.

В луче фонаря возникли дощатые ящики. И другие ящики, необычного вида, широкие и плоские. Заблестели рассыпанные на полу гвозди. А посреди помещения возвышалась фигура женщины с луком в руке.

– Вот, – сказала Катя, – видите, готово все. – Она прошла среди ящиков, потрогала их, пощупала тюки, потом смерила взглядом статую. – Я должна была вам показать... Чтобы вы, по крайней мере, знали место.

– Ясно, – сказал я.

– В коробках фарфор. Дворцовые сервизы. Кидать нельзя, запомните. Ладно?

Я спросил, что в плоских ящиках. Оказывается, картины.

Вот не думал! До сих пор я встречал картины только в рамах.

Должен заметить, хоть я и воображал себя непроницаемо строгим, мои настроения все же отпечатывались на моей нескладной физиономии весьма отчетливо.

– Я тоже вот, – она засмеялась, – как пришла первый раз в музей, в хранилище, мне жалко их было, жалко картин. Море плещет, деревья шумят, люди как живые написаны, – да как же можно это трогать, из рам вынимать... и в темницу...

Я ничего не ответил. Я сжался весь еще сильнее оттого, что она так внезапно и непрошено заглянула мне внутрь. А она как ни в чем не бывало порхала по комнате, сыпала именами. Я уже не помню сейчас всех художников, которых она назвала тогда. Я не знал их, кроме Айвазовского.

И тут меня прорвало. Мне вдруг взбрело на ум показать, что и я не лыком шит.

– Девятый вал, – сказал я.

У нас дома, в Калуге, висела репродукция «Девятого вала».

Катя улыбнулась. Веселые, лукавые искорки плясали в ее глазах. Я насупился.

– Что вы, этой картины нет! – услышал я. – Она в Москве, в Третьяковской галерее. Тут полотно из Минской галереи, из нашей Киевской. – Тон ее стал опять деловитым, как вначале. – Грузить будете – стоймя ставьте, как здесь. А вот с Дианой, – она обернулась к статуе, – сложнее обстоит. Ящик сколотите. Только сосна не годится. Сосна не выдер-

жит. Дуб только. И потом...

– Я не плотник, – вставил я.

– Это всех касается! Всех! Вы знаете, где она стояла раньше? В Петергофском парке! Ой, лышеньки, да зачем вы молчите так! Да вы ж не представляете, какое это богатство! А тут малая часть. Он же массу всего вывез...

– Кто? – не выдержал я.

– Фон Шехт. Хозяин виллы. Мой начальник. Вы слышали про эйнзатцштаб?

– Никак нет.

– Эйнзатцштаб – это... – начала она и запнулась. – А вы поверите мне? Нет, – она покачала головой, – лучше спросите про штаб... И про меня... У Бакулина.

У Бакулина?

Я знал его. Майор Бакулин, офицер разведотдела армии, часто бывал у нас в роте. Я насторожился. Мало ли почему он мог быть известен в этом, как его, эйнзатцштабе! Если она связана с Бакулиным, работает на нас, то почему он не ориентировал Астафьева, меня? Не предупредил о возможной встрече? Бакулин, с его редкой памятью, рассудительный, внимательный. Бакулин не упустил бы...

Я терялся в сомнениях. В душе доверие к ней, вопреки логике моих размышлений, еще жило, но я решительно заглушал его.

– Вы поможете мне, правда? – спросила она и, подтянувшись на носках, глянула мне прямо в лицо. – Правда? Вы

отпустите меня?

– Куда?

Еще больше насторожился я, когда она объяснила. Обрат-
но, к немцам, в Кенигсберг, – вот куда ей нужно, оказывается-
ся! Большая часть музейных вещей там. Гитлеровцы сейчас
прячут их, и ей надо быть в курсе. Иначе их не найти потом.

– Это же для нас... Лышеньки! Там на миллионы, на мил-
лиарды... Из Петергофа вещи, из Пушкина...

– Не могу, – сказал я.

Ни в Пушкине, ни в Петергофе я не был. Я не имел о них
почти никакого понятия. Возможно, все это так, как она го-
ворит. Но я не могу, не имею права отпустить ее. Я отвел луч
фонаря вниз, к истоптанному, в трещинах бетонному полу.
Не видя ее, мне легче было противиться ей.

– Хорошо, – вздохнула она. – Тогда вы сообщите Бакули-
ну.

– Что?

– Это самое и доложите, – произнесла она жестко. – Что
я вас просила, а вы...

– Душно здесь, – сказал я. – Пошли.

Мы выбрались из подвала и остановились у портика с над-
писью: «Санкт-Маурициус». Луна зашла за облака, стемне-
ло, где-то гремел на ветру лист железа, словно подражал ору-
диям, рокотавшим вдали. Теперь уже не одна, несколько ба-
тарей, наших и немецких, ввязались в спор. Мраморная Ди-
ана, картины в ящиках, дворцовый фарфор – все это пока-

залось мне до странности чуждым войне. Как будто я только что прослушал сказку о спрятанных сокровищах.

Катя нахохлилась. Галалитовый листок на ее берете блеснул ниже моего плеча.

– Если вы такой... Ведите меня туда, к нашим! Мне же скорее надо обратно!

– Подождет ваше дело, – сказал я.

Сняться с холма я предполагал на рассвете. Но получилось иначе, командование сочло нужным занять обнажившийся участок, улучшить свои позиции.

Удивительно быстро обосновываются солдаты на новом месте. Возникли окопы, огневые точки, замаскированные плетнями из ивовых прутьев. На склонах выросли шалаши. Запахло махоркой, срезанным можжевельником, ружейным маслом.

В подвале расположился командный пункт стрелкового полка. Я зашел туда, поручив Катю сержанту Симко.

– А я тебя ищу, – раздался голос Астафьева. – Где твоя переводчица? Давай ее!

Не только он, и Бакулин приехал, чтобы свидеться с ней. Им отвели шалаш, и я привел туда Катю, задыхаясь от нетерпения. Седой майор шагнул к Кате, взял за плечи и поцеловал в лоб.

– Девочка хорошая! – сказал он.

Я буквально прирос к полу. Все смешалось в моей голове. Почему же, почему нас-то не предупредил Бакулин? Но

не мне было задавать вопросы майору. Астафьев покосился на меня и дернул свой ус движением, означавшим, что мое присутствие излишне.

Сержант Симко караулил машину. Шофер Кайус Фойгт мирно похрапывал в кабинке.

– Наша она! Наша! – шепнул я сержанту. Радость распирала меня, я не мог не поделиться ею.

Катя пробыла с офицерами не дольше получаса. Потом вызвали меня. Майор дописал что-то, промокнул и отставил пресс-папье. Он хмурился. Астафьев дергал свои чапаевские усы.

– Проводить надо товарища, – произнес он. – Мимо боевого охранения... В общем, на ту сторону. Саперы уже, по-ди, заложили свои гостинцы на шоссе, так ты первым делом ступай к ним. Пусть укажут объезд.

Меня точно резнуло...

Зачем? Разве так необходимо? Идти обратно, в осажденный город, ради вещей! Ведь не сегодня-завтра Кенигсберг будет в наших руках. И все, что там есть. Выходит, я напрасно задержал ее. Только, отнял у нее время и, может быть, повредил ей. Ну, конечно! Возвращаться – так сразу, а сейчас это опасно вдвойне... Привычное «слушаюсь» не шло с губ, его стало вдруг очень трудно выговорить. Трудно, как никогда.

– Товарищ майор, – начал я, – разрешите... Я готов и дальше с ней... Если найдете целесообразным.

Наверно, это выглядело нелепо, по-мальчишески. Но молчать я был не в силах.

– Не нахожу, – отрезал Бакулин. – И ее под топор подведете, и вам несдобровать. Нечего! – Он сердито откашлялся и добавил мягко: – Вы правильно поступили, лейтенант. Верно, Астафьев?

Как раз такие слова мне очень нужны были в ту минуту. Но стыд, чувство вины перед ней не проходили.

– И немца с ней? – спросил я.

– Да, и немца. – Лицо Бакулина теплело. – Не все они фашисты, Ширяев. Не все.

Ох, до чего же опять нелегко повиноваться! Немец все-таки! Правда, при мне наши политработники отпускали пленных в расположение врага с листовками: агитировать, разъяснять правду о Гитлере, Я сам сопровождал однажды пленного через наш передний край. Но Кайус Фойгт!.. Ведь, коли он побывал у нас с Катей, жизнь ее зависит от него. Что, если выдаст?

– Действуйте, лейтенант, – кивнул Бакулин и задержал на мне ласковый взгляд. – Прошейте им кузов из автомата да у минометчиков попросите огонька. Легенда такая: заблудились, наткнулись в темноте на красных, едва улизнули.

– Ясно, – выдавил я.

Я сам всадил очередь в задний угол кузова. Несколько мин лопнуло впереди, на шоссе, затем Катя села в кабину, я втиснулся рядом. Кайус Фойгт дал газ, и мы не спеша, на тормо-

зах скатились с холма. Катя зябко ёжилась.

– Ой, звездочка упала! – воскликнула она. – Я загадала. Значит, все будет хорошо.

Она улыбалась мне, ободряла меня. От этого становилось еще тяжелее. Мы объехали минное поле, я вылез и пожал маленькую холодную руку.

– Простите меня, – только и сумел я сказать.

Начинало светать, и машина не сразу скрылась из вида. Я стоял и смотрел. Вот она превратилась – в бесформенный комок и растворилась в сумерках. Некоторое время еще слышалось жужжание мотора, потом его заглушил отдаленный гомон зениток. Край неба вспыхнул, там занимался пожар. Где-то переговаривались дальнобойные. Озаряемое сполохами, лежало каменной целиной предместье вражеского города, и к нему, в неизвестное, двигалась маленькая бесстрашная девушка...

Глава 3

Вы поймёте, как нетерпеливо ждал я вестей от Кати, когда мы вошли в Кенигсберг.

Дышалось по-весеннему. На Университетской площади, где генерал Ляш со своим штабом сложил знамена, дерзко пробивалась в обгоревшем сквере молодая зелень. В тот год весна несла самый драгоценный дар – победу, мир. И хотя в городе то и дело рвались мины, возникали пожары, а пленные немцы рассказывали о каком-то «тайном оружии», будто бы имеющемся у Гитлера, мы все знали: дни фашистской Германии сочтены.

«Неужели Катя не дожила?..»

Она не встретила нас. Явки, которые она дала Бакулину, не состоялись.

Значит, случилась беда. Чувство вины перед ней и раньше донимало меня, а теперь оно стало невыносимым. Я рисовал себе ее в застенке, в руках палачей. «Если она погибла, – думал я, – то из-за меня. Да, из-за меня».

Бакулин предпринял розыски. Я понадобился ему, так как видел Катю и шофера. От Бакулина я и узнал ее историю.

Жила Катя сперва в Майкопе, потом в Киеве. Окончила там семилетку, поступила в музей, на техническую должность. Полюбила музей. Когда Киев захватили немцы и стали вывозить сокровища, Катя вызвалась сопровождать эше-

лон в Германию. То было поручение комсомольского подполья – не выпускать из виду музейное добро.

Юная девушка, наивная, почти ребенок, – кто заподозрит, что у нее секретное задание! Ограблением музеев ведал эйнзатцштаб Альфреда Розенберга. Катя устроилась в штабе переводчицей. Немецкому языку ее обучали еще в детстве. В музее Катя успела прослыть ходячим каталогом. Она держала в памяти тысячи имен, дат.

Последнее время Катя была в Польше. В Кенигсберге она очутилась недавно. Вот почему Бакулин не предупредил нас. Он сам не рассчитывал встретить Катю на нашем участке.

– Миссия ее, в сущности, почти закончена, – сказал Бакулин. – Много сведений уже получено от нее, кое-что она сама мне сообщила. Но... Она, понимаешь, считает, что рано ставить точку. Аргументы у нее серьезные.

Луч солнца, пробившийся сквозь цветное стекло узкого окна, освещал лицо Бакулина, доброе и немного грустное. Разведотдел занял помещение духовной школы.

– Вещи! – воскликнул я с досадой. – Да куда они денутся, товарищ майор!

– Могут и пропасть. Вопрос не такой простой, Ширяев. Но мы убедили ее не увлекаться по крайней мере. Ограничить цель. В Кенигсберге, видишь ли, находится знаменитая Янтарная комната.

– Комната? – спросил я.

– Отделка комнаты, точнее говоря. Не слыхал? Видел я

ее. Богатый в Пушкине дворец, всего не запомнишь, а это забыть невозможно. Комната в огне будто. В золотом огне. Он тлеет, тихонько тлеет, а тебе сдается, вот-вот вспыхнет пламенем. Даже жутко. Раздобудем ее в Кенигсберге, и ты увидишь.

– Не влечет, товарищ майор, – сказал я. – Что в ней? По сравнению с жизнью человека...

Для меня она была далека, как все мирное. – Янтарная комната: как дома «Девятый вал» в рамке, выпиленной лобзиком; как мои школьные учебники, закапанные чернилами; как плеск весел на Оке...

– Согласен, – молвил майор. – Человек дороже всего. Но ты ответь, можно запретить человеку идти на подвиг?

В тот день Бакулин долго не отпускал меня. И я изливал ему свою душу.

Астафьев – тот восхищал меня храбростью, хладнокровием в бою, но отдалял от себя суровостью. Причину он не скрывал. Война отняла у него всех близких. «Сердце из меня вынуто», – бросил он как-то, хватив трофейного шнапса. Бакулина я знал еще мало, чуточку робел перед ним, но тянулся к нему. Вырос я без отца и, должно быть, знакомясь со старшими, бессознательно искал отеческое...

Сегодня впервые Бакулин говорил мне «ты». Катя словно сблизила нас.

– Располагайте мной, товарищ майор, – сказал я. – Раз я допустил ошибку...

– Опять ты за свое... – Он покачал головой.

– Судить меня не за что. Верно, – отозвался я, – устав я не нарушил. А все-таки есть моя вина!

В чем она состоит, я не мог как следует объяснить. Чувствовал я себя как бы уличенным в трусости. От смерти в бою не бегал, а довериться человеку в решительную минуту смелости не, достало.

– Ну-с, ближе к делу! – отрезал Бакулин.

Я выслушал инструкцию. В Кенигсберг Катя приехала с двумя офицерами эйнзатцштаба – подполковником фон Шехтом и обер-лейтенантом Бинеманом. Известен еще шофер – Кайус Фойгт. Их и надо обнаружить прежде всего.

Я вышел.

Наводить справки, отыскивать кого-нибудь в чужом городе, только что занятом, – задача нелегкая. Я убедился в этом очень скоро. Фойгт как в воду канул. Не было никаких сведений ни об эйнзатцштабе, ни о его офицерах. В комендатуре пожимали плечами. Немцы – пленные и штатские – не знали или отмалчивались. Наконец на третий день мне принесли пакет со штампом немецкого лазарета.

«Подполковник Теодор фон Шехт скончался 10 апреля от сердечного удара», – прочел я.

Среди несметного количества смертей, изобретенных людьми, естественная, невоенная причина казалась неправдоподобной. К тому же речь шла о фон Шехте – грабителе фон Шехте. Требовалась проверка.

Бакулин дал мне «виллис», и я поехал. Сперва машина колесила по центральным улицам, разгромленным бомбовыми налетами англичан, огибала завалы, воронки, противотанковые надолбы, поваленные деревья. Я держал на коленях план Кенигсберга. Двигаться среди руин было трудно. Потом мы вырвались в западную часть города, почти не тронутую бомбами. «Виллис» остановился у серого особняка. У подъезда, под тяжелым узорчатым железным фонарем, советский офицер-медик – потный, в расстегнутом кителе – растолковывал что-то немкам-санитаркам.

– Фон Шехт? – Медик поднял брови. – Совершенно верно, умер.

– Tot, tot, – закивали санитарки.

– Удар? – спросил я.

– Точно, точно, – подтвердил медик. – Я сам очевидец.

Одна из санитарок принесла небольшой желтый чемоданчик. Медик достал из кармана ключ.

– Документы умерших, – сказал он.

Синий сафьяновый бумажник с инициалами фон Шехта мне бросился в глаза сразу. Он, словно аристократ, чванный, пузатый, раздвигал потрепанные паспорта и солдатские книжки. Вывалилось офицерское удостоверение, пропуск штаба гарнизона, два орденских свидетельства: одно – к Железному кресту, другое – к кресту с дубовым венком. Но фотоснимках – узкое лицо, словно рассеченное широким, плотно сжатым ртом, вдавленные виски, высокий, без

морщин лоб. Год рождения 1898-й, сообщали документы. Но ему можно было бы дать и тридцать лет, и все пятьдесят Лицо без возраста... Вот пачка визитных карточек. «Фон Шехт» – стояло на них крупно, затейливой старинной вязью. Вспомнилась вилла «Санкт-Маурициус» – башенка, униженная гипсовыми раковинами. И еще одна подробность возникла в памяти при взгляде на карточки. На каждой, в левом верхнем углу, красовалось изображение святого с черной негритянской головой. Того самого, что стоял в подвале виллы, в нише.

– Святой Маурициус, – произнесла санитарка постарше, и остальные опять закивали.

Уголок сложенной вчетверо бумажки торчал из бумажника. Я развернул.

«К ногам могучей немецкой империи складывает покоренная Россия сокровища, накопленные царями и блиставшие в их дворцах. Немец! Посмотри на эти трофеи! Они по праву принадлежат расе господ».

Бумажка перетерлась на сгибах, потеряла глянец, – фон Шехт, очевидно, давно хранил этот рекламный листок. Как сообщалось далее, выставка вещей из дворцового убранства открыта в Орденском замке, и в числе экспонатов – Янтарная комната из Екатерининского дворца в городе Пушкине.

Вот и все содержимое бумажника. «Пожалуй, только реклама выставки и представляет интерес», – думал я, трясаясь в «виллисе». Теперь установлено по крайней мере, где пока-

зывали Янтарную комнату – предмет особых забот Кати.

– В замок! – приказал я водителю.

Орденский замок – в самом центре города. Первый раз я увидел его в день штурма. Багровое пламя вырывалось из окон угловой башни. Он стоял в клубах дыма, над пустырями, над грудями битого камня. Жилые кварталы окрест рухнули, а замок стоял. Ловкие мастера воздвигли когда-то это здание вышиной с восьмизэтажный дом. Бомбы, пожары сильно повредили его; стены местами обвалились, но он все же выдержал.

«От замка на зюйд», «Мимо замка и вправо» – так говорили тогда у нас, уточняя направление. Он виден издалека. Но только теперь, поднимаясь по ступеням лестницы, ведущей к воротам, я почувствовал всю мощь древней твердыни. Замок словно придвинулся и навис надо мной. Угрожающе клонилась башня, мохнатая от опаленного, порванного плюща. Струйки дыма сочились из амбразуры, – внутри что-то еще горело.

От этого замка и пошел Кенигсберг. Оплот Тевтонского ордена, немецких псов-рыцарей был его началом, его сердцевиной. Потом замок стал резиденцией прусских королей. Один из них – Фридрих-Вильгельм – принимал здесь русское посольство во главе с Петром Первым... Но это все я узнал позднее.

Холодом, извечной сыростью камня, духом гнили пахло на меня во дворе. Есть ли тут где-нибудь жизнь? Мы ми-

новали арку, вошли в следующий двор. Гудит мяч, – люди в голубоватых, застиранных халатах играют в волейбол; несет йодоформом. Санчасть. Рядом, в углу, у маленькой кирпичной пристройки толчется часовая. Верно, кладовая. На двери с замком дощечка: «Мин нет». А справа, в глубине двора, они, может, еще есть, – там ходят саперы, тычут в землю свои щупы. И какой-то штатский, коротенький, в помятой зеленой шляпе, увязался за офицерами, жестикулирует, зовет.

Я подошел.

– Его зовут Моргензанг, – сказал, смеясь, лейтенант, мой ровесник. – Утренняя песня, следовательно. Он хозяин кабачка.

– Какого кабачка?

– Вот же, – лейтенант задрал голову, – Кровавый суд! Придумал же!

«Blutgericht» – блестящие стальные буквы, прибитые прямо к стене.

– Тут в старину был зал суда, – продолжал лейтенант, и в голубых глазах его светилось насмешливое удивление. – И камера пыток. Давно, еще при рыцарях. Чудак же! Спрашивает, нельзя ли ему опять открыть свое заведение. Для наших офицеров. Конкурент Военторгу! – Лейтенант расхохотался, довольный своей шуткой. – Он говорит, многие высокопоставленные лица посещали кабачок. Топоры, клещи там, железные прутья развешаны, кольца, куда пленников заковывали. Все подлинное. Очень, говорит, редкий локаль.

Вот, хочет продемонстрировать.

Немец подбежал к нам:

– Нет мин, господа, уверяю вас! Я же был тут. Ой вы бы видели маскарад! Фольксштурмовцы сперва храбрились, а потом сорвали с себя мундиры и драли. В музейных костюмах! В камзолах, в плащах времен Лютера. Бог мой! А я и не подумал уходить. Зачем? Я вывесил скатерть, белую скатерть, и встретил русских здесь. Да, да, может ли капитан покинуть свой корабль? Нет, господа! Так и я!

– Порядок! Гут! – раздалось за стеной, внутри.

Солдат-сапер прыгнул с подоконника к нам. Моргензанг тотчас ринулся вперед.

В кабачке все побелело от осыпавшейся штукатурки – прилавок, круглые столики, пыточное кольцо, вбитое в стену. На полу валялись бутылки с этикетками французских, греческих вин. Моргензанг носился по залу, рылся в кладовых, гремя пустой посудой и скорбно вздыхал.

– Ах, господа офицеры, ничего нет, абсолютно ничего! Пустыня Сахара! – горевал он, вздымая руки. – Проклятые эсэсовцы! Все сожрали!

Войдя в азарт, он перечислял вина, которыми хотел бы нас угостить, токайское полувековой давности, старый рейнвейн. Прищелкивая языком, Моргензанг рассказывал, какие блюда составляли гордость его предприятия. Прежде всего – фаршированный цыпленок! Тут Моргензанг молитвенно затаил.

– Объеденье! Чудо! – воскликнул он. – Цыплят я получал из Литвы, очаровательных цыплят.

Он поперхнулся и заговорил о датских сырах. Затем он перешел к отечественной кухне.

– Сырой фарш с луком вы ели? – спрашивал он. – У вас в России это не принято, кажется. Напрасно. В Германии модно! Некоторые даже требовали фарш с кровью, по древнегерманскому обычаю...

Лейтенанта это откровенно забавляло. Он был сильнее меня в немецком, то и дело принимался переводить. смеялся от души.

– Ох, потешный частник! – приговаривал он. – Гастрономическая песня. У меня уже живот подводит.

С трудом я прервал изливания Моргензанга, припер в угол и дал ему листок с рекламой выставки. Он вытер руки о плащ, осторожно взял листок за уголки и пошевелил белесыми бровями.

– Да, выставка была. На втором этаже, в бывших королевских покоях. Роскошно! Великолепно!

Он прибавил, что пускали туда не всех, и он, Моргензанг, ни за что бы не попал, если бы не клиенты. Они устроили ему протекцию.

Я спросил, куда делась выставка. Оказывается, в сентябре, во время налета англичан, туда угодила зажигательная бомба. Часть вещей пострадала.

– Только часть, и не самая ценная, если верить слухам. По-

сле налета вещи упаковали и стащили вниз, в подвал. Своды там знаете какие! Лучшего убежища не найти. Тевтонские рыцари, они, верно, предвидели авиацию, бомбы! Х-ха!

Накануне штурма города Моргензанг увидел во дворе замка ящики, груду ящиков. В них была отделка Янтарной комнаты – зеркала с прикрепленными к ним камнями. Как он узнал? Очень просто, ящики были помечены буквами «В» и «Z». Эсэсовцы подтвердили: да, это царская Янтарная комната. Ящики лежали прямо на асфальте, под дождем, и Моргензанг спросил себя, что же будет с царскими сокровищами дальше. Цари, вероятно, и вообразить не могли такое. Эсэсовцы успокоили его. Дождь не страшен, у ящиков двойные стенки с прокладками.

– Слава богу! Значит, все в сохранности. Сейчас ведь не делают таких изумительных вещей. Вообще все прекрасное – в прошлом. Увы, это так! Что дал нам прогресс? Бомбы! Бомбы!

– Э, да вы философ, – заметил лейтенант-сапер.

– О да, господа! Кенигсберг – город Канта. Мне передавали, ваши военные положили цветы на могилу Канта. О, это благородно! Здесь всегда была интеллектуальная атмосфера, пока не явились нацисты. Ах, вы бы видели, что творили эсэсовцы здесь, в моем кабачке! Варвары, настоящие варвары!

– Какие эсэсовцы? – спросил я.

Имен он не знает. Да разве упомнишь всех! Кабачок

обслуживал военных. Он был открыт до последнего дня, несмотря на пожары, на бомбежки. Тут Моргензанг горделиво выпятил грудь. А эти эсэсовцы были последними посетителями. Выпили, съели все самое лучшее, потом переколотили бутылки, консервы забрали, сыр и масло облили керосином. Такой был чудесный круг сыра из Дании! И ничего не заплатили. И это наводило на размышления. Ведь жителей Кенигсберга уверяли, что город никогда не будет сдан, что Берлин посылает на выручку осажденным парашютные дивизии. Пока клиенты платили, еще можно было поверить.

– Шумели тут эсэсовцы, безобразничали и поглядывали в окна. Ждали машину. Вечером – уже стемнело – во двор вкатился грузовик с русскими пленными. С ними был обер-лейтенант, очень толстый, и переводчица. Русская фрейлейн, молодая, маленького роста.

– Катя! – вырвалось у меня.

Я стиснул плечо лейтенанта. Моргензанг начал старательно вспоминать, как выглядела русская фрейлейн. Да, синий берет, кожаная зеленоватая куртка.

– Катя! Катя!

Как только появилась машина, все эсэсовцы высыпали во двор. Моргензанг вышел. Ему любопытно было, что же происходит? Пленные погрузили ящики. Моргензанг спросил одного офицера, куда их везут, тот ответил: «Туда, где их сам дьявол не отыщет». И они уехали.

– И переводчица тоже? – спросил я.

– Да, маленькая русская фрейлейн села в кабину вместе с обер-лейтенантом.

Моргензанг заметил и волнистые белые полосы на кузове – несмывую зимнюю маскировку. И шофера запомнил. Высокий, с тонкой шеей. Он очень уважал русскую фрейлейн.

– Да, глядел на нее, как мальчик на свою мать. Забавно! Он – верзила, а она – такая миниатюрная фрейлейн. Шофер помогал грузить, – все они очень спешили; и фрейлейн волновалась, все напоминала: «Осторожно, там стекло». Боялась, как бы не разбили.

Больше Моргензанг ничего не мог сказать нам. Он проводил меня до ворот и напоследок снова выразил свое самое заветное, самое искреннее желание – открыть кабачок «Кровавый суд» для русских офицеров.

Итак, накануне штурма Катя была жива. Что же случилось с ней потом? Найти бы кого-нибудь из тех пленных! На окраинах Кенигсберга, как грибы, разрослись бараки, обнесенные колючей проволокой. Узников гоняли на фабрики, на оборонные работы.

Вечером Бакулин выслушал мой доклад.

– Мы на верном пути, – сказал он. – Ты прав, надо поискать среди пленных. Они еще здесь. Идет процедура учета, репатриации. Терять времени нельзя.

Минул день, другой. След Кати снова оборвался. В одном лагере ее видели, – она приехала с обер-лейтенантом; им дали группу пленных. Они не вернулись в лагерь. Это было на-

кануне штурма.

Итак, Катя была тогда жива. Взяв пленных, «оппель» Кайуса Фойгта прибыл в замок за янтарем. Оттуда Катя уехала. С Фойгтом, с обер-лейтенантом, – возможно, Бинеманом, помощником фон Шехта. Куда?

Глава 4

На доклад к Бакулину я являлся каждый вечер.

– Как вы-то думаете, товарищ майор? – спрашивал я его с тревогой. – Жива она? Есть надежда?

– Данных нет, – отвечал он. – Надежду не теряй, Ширяев. Составил я вчера бумагу для начальства. О ней. Знаешь, рука не поднимается написать – «пропала без вести». Ну, никак... Достанем вести! Верно?

Однажды я застал у него незнакомого полковника – красноты, с острой бородкой, белой как снег. Оба рассматривали что-то, скрытое от меня бронзовым письменным прибором.

– Товарищ полковник, – сказал я, – разрешите обратиться к майору?

– Ради бога, голубчик, – протянул тот. – Зачем вы спрашиваете? Обращайтесь сколько вам угодно.

Я опешил.

– В армии спрашивают, – пояснил гостю Бакулин и улыбнулся мне. – Уставное правило. Ну, что у тебя?

Штатские манеры полковника смутили меня. Я молчал.

– Познакомьтесь, – сказал майор и обернулся к гостю. – Это Ширяев. Тот самый...

Я едва устоял на ногах – с таким жаром бросился ко мне этот диковинный полковник, схватил за плечи, отпустил,

снова схватил и стал трясти.

– Ширяев? Ну те-ка, дайте полюбоваться на вас. Орел! Орел! Вы наградили его, товарищ Бакулин? Эх, дали бы мне право, я бы вам высший орден... Ну, молодец! Батальон в плен взял! Глазом не моргнул!

– Остатки батальона, – поправил я, не зная, куда деться от столь неумеренных похвал.

– А я Сторицын, – заявил он. – Сторицын. Ударение на первом слогe.

– Очень приятно, – промямлил я.

– Профессор Сторицын, – продолжал он. – И вот полковник без году неделя. Командировали сюда, одели. Все честь отдают, а я не умею. Кланяюсь, знаете, как самый паршивый штафирка. Зрелище мерзкое. А?

– Звание присвоил министр, – веско произнес Бакулин. – Ну, что у тебя, Ширяев? Не стесняйся. Полковнику тоже интересно.

Сторицын сел. Пока я говорил, он кивал, вздыхал, и я почувствовал – история Кати Мищенко ему уже известна.

– Значит, нового ничего, – подвел итог Бакулин. – Теперь насчет дальнейшего.

Он подозвал меня, и я увидел то, что они разглядывали, когда я вошел. На столе лежал портрет. Портрет женщины в платке, написанный масляными красками на небольшом холсте, потемневший, местами в паутинке трещин. Что-то заставило меня еще раз посмотреть на него.

– Венецианов, – сказал Бакулин. – Подлинный Венецианов из минской галереи.

Я не слышал о таком художнике.

– О дальнейшем, Ширяев. Порфирий Степанович прибыл к нам по распоряжению правительства за музейным имуществом. Будешь ему помогать.

А как же розыск? Я испугался. Первая моя мысль была, не решил ли Бакулин снять меня с задания. Дни идут, а результатов никаких. Чего я добился? Вот сейчас он скажет, что я не справился, и дело поручат другому, а меня – под начало к этому профессору. Рыскать за спрятанными картинами, за всяким музейным добром!

– Ясно, – выдавил я.

Бакулин засмеялся.

– Что тебе ясно? Ну!

– Не сумел я... Отстраняете меня, выходит... Сожалею, товарищ майор.

– Ах так? – Он нахмурился. – Ничего ты не понял. Не разобрался ты, для чего находилась у немцев Катя Мищенко. Миссия ее тебе безразлична, а если так, то, может быть, тебя действительно следует отстранить.

– Полноте! – всполошился Сторицын. – Такого молодца, и вдруг...

Недоставало мне его участия! Я помрачнел еще больше. Но лицо Бакулина уже потеплело.

– Отвык ты от мирной жизни, Ширяев, – начал он. – За-

был ее, что ли. Огрубел. Я до войны был следователем. Бывало, измучаешься дьявольски, вся душа, как бы выразиться, в мозолях от соприкосновения с разной слякотью. Выберешь свободный вечер – и в филармонию. Послушаешь Чайковского, и вроде вокруг тебя светлее стало. Вера в человека поднимается. Вот ты читал в газетах: гитлеровцы разорили домик Чайковского в Клину, Новгородский кремль разрушили. А ты задумывался – почему? Да ведь они русскую нацию хотели убить. Что мы такое без русской национальной культуры, без книг Пушкина, без картин Репина, Сурикова? Без Венецианова. – Он показал на портрет. – Или взять Янтарную комнату. Я повторяю, впечатление незабываемое. Стены в огне. Два века назад зажгли этот янтарный огонь, костер этот, а он все горел, светил нам... Такие вещи цены не имеют, они дороже денег. Это культура наша. Она и в нас, понял?

– Bravo, bravo! – Сторицын захлопал мягкими ладонями. – Да что вы напустились на него! Понимает он, отлично понимает.

– Умом – может быть, а сердцем – еще нет. Катя Мищенко тоже Родину защищала. Не хуже нас с тобой. Так вот, надо завершать ее миссию. Искать то, что фон Шехт и прочие увезли в Германию, в Кенигсберг. Раскрыть все махинации, всю подноготную этого эйнзатцштаба. Без этого мы и о Кате вряд ли узнаем что-нибудь. Ясно тебе, Ширяев? Ясно, почему задание у тебя и у полковника, по существу, одно? Нам

без него не обойтись, а ему – без нас.

Сейчас мне странно вспоминать, до чего же простые истины надо было мне втолковывать!

– Утром поедешь с полковником на высотку... На виллу фон Шехта, – закончил Бакулин. – Покажешь там все. А теперь ступай. Подумай как следует.

Глава 5

Как только мы двинулись к высотке, Сторицын начал проверять мои познания.

– Полный профан, – признался я. – Одного Айвазовского помню: «Девятый вал».

– А «Черное море»? Неужели не знаете? – изумился он. – Да ведь у нас никто, понимаете, ни один художник еще не сумел так выразить... огромность моря, силищу его... Вот Англия – остров, морская держава, а ведь и там никто не мог так... А труженик какой! Сколько картин написал! Сам он счет потерял. А когда подсчитали, уже после него, около шести тысяч получилось в итоге.

Я узнал, что Айвазовский писал не только пейзажи. У него есть и исторические картины. Славные сражения русского флота, Колумб на палубе своей каравеллы, серия картин о Пушкине...

Об Айвазовском я слушал с интересом. Потом Сторицын стал называть других художников. Жили они давным-давно, но Сторицын говорил о них как о современниках. Так, будто он только что видел их.

– А Федотов, Федотов! Ну что за молодец, ей-богу! Служит в полку при Аракчееве, кругом рукоприкладство, муштра, а он примечает – и бац! Вот гляди, фанфарон, тупой экзекутор, какой ты есть! Полюбуйся на свой портрет! Или,

скажем, «Смерть Фидельки». У барыни собачка сдохла, Фиделька. Переполох поднялся! Дворня, приживалки не знают, как и утешить барыню, носятся вокруг... И видишь эту барыню насквозь. Видишь ее самодурство, капризы, видишь, как она дворовых лупит, хоть и не показано это на рисунке. Вы, милый, можете уйму книг прочесть о крепостничестве, о николаевской эпохе, и все-таки, чтобы наглядно себе все представить, вам понадобится Федотов.

Ну а взять Перова, Василия Григорьевича. «Суд Пугачева» тоже незнаком вам? Нет? Ну, когда увидите, поймете, сколько надо было мужества иметь – изобразить так Пугачева, бунтовщика... В царское-то время! Перов народного героя написал. А «Похороны крестьянина», «Тройка»! Трое ребят везут сани, а на них тяжеленная бочка с водой. Зима, гололедица... У Перова каждая картина обвиняла, жгла угнетателей народа. И Венецианова не знаете?

– Нет, – вздохнул я, вспомнив картину в кабинете Бакулина.

– Тоже подвиг. Жизненный подвиг. Мог бы ведь вельмож писать, дворян, иметь большие деньги, а он с мольбертом – перед крепостной крестьянкой. Красоту простого человека передать стремился... И картин Шевченко не знаете?

Я пожал плечами.

Конечно, представить себе картины мне было трудно. Они, наверно, очень хорошие, думал я. И те, в подвале виллы, не хуже, должно быть. Спасла их Катя. Сторицын не го-

ворил о ней, но я находил в его словах и похвалу Кате. Вот бы она слышала...

На холме в вилле расположились связисты. Сторицын произвел сенсацию. Держал он себя препотешно: поднося ладонь к козырьку, добродушно кивал, путал звания, одного младшего лейтенанта величал майором. Солдаты фыркали в кулак.

Мне было совсем не смешно. Хотелось поскорее оставить его одного с картинами и уехать.

Однако, когда мы распечатали дверь и вошли в низкий подвал, я помедлил. Здесь все так напоминало о Кате!

С луком в руке спешила за невидимым зверем Диана. Две поджарые борзые лизали ее голые икры. Так же пахло сыростью и красками. Я скользил лучом фонаря по ящикам. Они словно хранили секрет, касавшийся Кати...

Бойцы приволокли аккумулятор, наладили освещение, затем принялись распаковывать. Заскрипели доски. В открытом коробе сверкнул фарфор. Мы бережно вынимали позолоченные тарелки, блюда и ставили на плащ-палатку – это поистине универсальное одеяние солдата, которое может стать и жильем, и постелью, и мешком, и ковром.

– Севр! – восклицал Сторицын. – Видите марку? Изделие севрского завода во Франции. А это наше, Императорский завод. Теперь – имени Ломоносова в Ленинграде. Золотые сетки, гирлянды, завитки, фестончики – стиль рококо. Восемнадцатый век, время Екатерины. – Он взял обеими рука-

ми миску. – Суп для ее величества. Черепаховый суп или из фазана.

Он говорил без умолку. Он прочел нам лекцию о фарфоре, изображая в лицах то слугу, подающего на стол, то царицу, то сановного гостя.

Другой короб был набит фарфоровыми трубками. Трубки с портретами царей, королей, вельмож, трубки с пейзажами, со сценками сельской жизни, трубки с видами городов... Сторицын тотчас показал, как барин курил, развалившись в кресле, держа длинный чубук. Чашечка, вмещавшая до полуфунта табаку, опиралась о пол.

В третьем коробе лежали обернутые соломой бокалы с гербами и вензелями. Сторицын рассказал о петровских ассамблеях, о кубке Большого Орла, который вручали опоздавшему. Нелегко ему приходилось. Извольте-ка выпить тысячу двести граммов вина, и к тому же крепкого!

Чего он только не знал, Сторицын!

Рассказывая, он успевал делать заметки, сообщал имена мастеров, происхождение вещей. Дворец в Петергофе, дворец в Пушкине, Ораниенбаум, Павловск...

Он увлек нас. Мы работали с жаром. Нам всем стало очень радостно. Удивительные вещи, возвращенные нам, отбитые у врага!

Сторицын велел уложить все и закрыть короба. Настала очередь картин.

Айвазовский, Федотов, Перов – возникали в памяти име-

на, слышанные от Сторицына. Мне вдруг захотелось увидеть на картине море. «Девятый вал» тому причиной или другое что, но в детстве я мечтал о море. За сочинение о море я получил пятерку. А увидеть море довелось только год назад, в Латвии. Оно было суровое, тусклое, совсем не такое, как на очень знакомой репродукции.

С сухим треском открылся фанерный щит. Сторицын вскрикнул. Мы все с недоумением уставились на холст.

Ничего похожего на эту картину – если ее вообще можно так назвать – мне не встречалось. На сером фоне, заляпанном бурыми пятнами, различалось нечто, напоминавшее дерево. Оно росло из земли, образовав внизу бугристый, желтовато-коричневый ствол, а дальше раскидывалось не ветвями, нет, – человеческими внутренностями.

– Фу, мерзость! – бросил один из солдат.

– Это уж не наше, – молвил Сторицын. – Ихнее. Модная манера на Западе. И возиться с такой живописью не будем. На свалку – и всё! Дальше!

На следующем холсте ничего нельзя было понять, – изломанные геометрические фигуры, плавающие не то в облаках, не то в волнах.

Да, таких картин не могло быть в наших музеях. Должно быть, фон Шехт и добыл их где-нибудь на Западе. Одно за другим возникали перед нами создания художников, наверно спятивших с ума.

Где же наши картины? Настоящие!

Их я так и не дождался. Бакулин приказал мне не задерживаться на вилле.

Час спустя я выкладывал майору новости.

– Дикая мазня, говоришь? – спросил он. – Ого, и ты сделаешься, пожалуй, знатоком в искусстве, – усмехнулся он. – Но странно! Катя не предупредила? Нет? Не все знала, возможно. А Сторицын там надолго засел? Отлично! А тебе я дам другое направление, дорогой мой Ширяев.

Я оживился.

– Побеседуешь с одним человеком. Помнишь венециановский портрет? Так вот, это он доставил нам. Художник, из пленных. Фамилия у него славянская – Крач, а по подданству бельгиец. Сперва-то он к коменданту города толкнулся с портретом. И с какими-то данными о фон Шехте. Ну, там и без того дела по горло. Разыскал я этого художника на эвакопункте...

– Разрешите ехать? – выпалил я.

– Куда? – Бакулин поднял брови. – Он здесь, в соседней комнате.

Я чуть не выбежал из кабинета. Бакулин погрузился в бумаги, у него было немало других дел.

В приемной, где сидел Крач, было еще несколько посетителей, но его я выделил сразу. Очень крупный, рыхлый, большелобый и совсем не похожий на пленного. Балахон лагерника, лопнувший на плече, он надел, видимо, недавно. У пленного не могло быть таких розовых щек, таких белых рук,

явно не знакомых с физическим трудом.

– З очи в очи, – вымолвил он, и я не сразу понял его.

Он желал говорить с глазу на глаз. Я повел его во двор, к штабному автобусу, захваченному у немцев. Алоиз Крач с трудом втиснул туда свое большое, рыхлое, ослабевшее тело. Он несмело улыбнулся, опустил водянистые сонные глаза и сказал:

– Подполковник фон Шехт есть злочинец. Вы простите меня, я по-русски вельми плохо...

– Фон Шехт умер, – вставил я.

– Шкода! – Он выпрямился, сжал пухлые пальцы в кулак. – Шкода!

То, что фон Шехт избежал суда и казни, до крайности огорчило Алоиза.

Начав свою повесть, он успокоился, заговорил по-русски чище.

Родился он в Прешове. Отец – австриец, мать – словачка. Окончил русскую гимназию. В Прешовском крае давно, еще с прошлого века, стараниями просветителей-интеллигентов распространялась среди украинского и словацкого населения русская речь, русская культура.

Незадолго до войны отец умер и оставил Алоизу в наследство два обувных магазина. Но торговля не влекла его. С дипломом Венской художественной школы Алоиз бродил по свету, был в Италии, в Греции, во Франции. В Париже он женился на натурщице-бельгийке и осел в Брюсселе. Был при-

зван в армию, угодил к немцам в плен. Долго мыкался по лагерям, потом его взял к себе подполковник фон Шехт.

Это было в 1944 году, летом. Из лагеря под Гамбургом Алоиза доставили в легковой машине в Берлин. Там в районе Панков, в унылом казарменном здании, он встретился с коллегами – художниками разных национальностей, собранными из концлагерей. Им объявили, что они могут заслужить милость и благоволение великой Германии. Потом их рассортировали. Алоиз Крач и его сосед по койке датчанин Ялмар Бэрк достались фон Шехту. Он отвез их в Пруссию, на виллу «Санкт-Маурициус».

Их хорошо одели, сытно накормили, отвели просторное, светлое ателье в мансарде, дали краски, кисти. Что ж, недурно! Правда, держали их на положении узников, за ворота виллы не выпускали, но с этим Алоиз примирился. Главное – уцелеть, пережить войну! А она шла к концу, успехи Советской армии радовали Крача, хотя ему было решительно безразлично, кто победит, какой мир получит Европа. Лишь бы мир! Алоиз Крач сторонился политики, считал себя обитателем особой сферы, далекой от земной злобы дня. «Я на планете Искусства», – говорил он о себе. Нацисты, социалисты, коммунисты, – какое дело до них художнику! Картины его были беспредметны. Другие пытались изображать в неожиданных, вывернутых ракурсах явления и формы жизни, но он – Крач – не соглашался с ними. Нет, полное освобождение от земных пут, ничего реального, разумного! Истина для

художника – его собственные видения! «Левее меня нет никого», – сказал он гордо журналисту перед открытием своей выставки в Париже. Она вызвала шум. С ним спорили. «Я так вижу», – отвечал он. Особенно поражало посетителей полотно, названное «Сад».

Тут Алоиз попросил у меня карандаш и на клочке бумаги вывел три треугольника: большой – острием вверх, поменьше – острием в сторону и еще маленький равнобедренный треугольничек.

Я засмеялся. И это – сад? Не шутит ли художник? Тут мне вспомнились нелепые картины в подвале виллы фон Шехта.

– О, у вас, в Советском Союзе, отменяют... отрицают, так? Но я видел ваше искусство. Подобно фотографии, да, да! Когда жил Рембрандт, не было фото. Нет! Теперь у нас аппараты: чик – готово. Художник должен тоже так? Нет!

Спорить я не решился, да и время не позволяло. Я спросил Алоиза, кто изобразил дерево с человеческими внутренностями вместо ветвей.

– То Ялмар. Он был немочный... больной человек. Он ничего иного не мог, – трупы, руины, руины, только руины. Я писал абстрактно.

– Это и требовал фон Шехт?

– Да. Я скажу...

В первый же день фон Шехт обошел с художниками комнаты виллы. Она вся была забита скульптурами, картинами, дорогим музейным фарфором. На многих вещах были

инвентарные номера, таблички с надписями по-русски, по-польски, по-французски. Больше всего трофеев фон Шехт добыл в России.

Затем он усадил обоих в гостиной. Слуга принес кофе и ликеры. Фон Шехт разъяснил, чего ждет Германия от Крача и Бэрка.

Ценности, находящиеся на вилле, не принадлежат фон Шехту лично. Нет! Они – достояние Германии. Это дань слабым, низших народов немцам, нации господ. Он – фон Шехт – из патриотических побуждений превратил свою виллу в хранилище для некоторых, особо примечательных, произведений искусства и в мастерскую. Отдельные картины пострадали в военной обстановке и нуждаются в реставрации. Но это не всё.

Художникам поручается маскировка. Нет, не здания. Картин. Увы, война диктует свои законы. Ему – фон Шехту – претит самая мысль – замазывать шедевры знаменитых мастеров. К счастью, существуют краски специального состава, разработанные на предприятиях «Фарбениндустри», находка немецкого научного гения. Эти краски надежны, смыть их легко. И подлинник не потерпит никакого ущерба, – когда нужно будет, он вновь заблещет. Он возникнет подобно птице Феникс из пепла.

– Фон Шехт был образованный человек, – зло усмехнулся Крач. – Он имел в памяти Античность. Греция, Рим...

Не сразу понял я, что Алоиз Крач, заблудившийся худож-

ник, обвинял не только фон Шехта, а судил еще и самого себя. Исповедовался, подводил итог прожитым годам душевного одиночества.

– Никоды... Никогда я не ставил вопрос, почему фон Шехт взял к себе именно пленных...

Вначале Крач наслаждался хорошей едой, чистой постелью, теплом, ванной – благами цивилизации, которых он был так долго лишен. Да, он замазывал старые картины. Но совесть его не тревожила. Он всегда верил, что абстрактное искусство вытеснит прежнее, классическое. И вот теперь он ниспровергает «кумиры из школьных хрестоматий», «гипноз банальности», «раскрашенные фотографии».

Фон Шехт подтрунивал над Алоизом. На рынке, бросил он как-то вскользь, Рембрандт стоит в сотни тысяч раз больше, чем упражнение абстракциониста. Однако бунтарство Крача нравилось хозяину. Нет, он не имел ничего против диковинных фигур без плоти, без смысла и цели, заслонявших творения живописцев прошлого. Фон Шехт требовал даже, чтобы художники ставили свои подписи. Плоха маскировка, если нарочитость ее обнаруживается с первого взгляда. Пусть работают с азартом, пусть утверждают самих себя!

Я слушал Крача затаив дыхание. Много, когда он говорил о живописи, мне нелегко было усвоить, но я силился запечатлеть в уме каждое слово.

Так, значит, картины, распакованные там, в подвале, надо просто отмыть! Почему же Катя не сказала мне? Да, выходит,

не знала. Ей, следовательно, доверяли не всё...

Алоиз продолжал.

Иногда он испытывал злорадное торжество. Да, он должен в этом сознаться! Ощущение могущества, призрачного, замкнутого пределами мансарды, но все же острого. Без сострадания расправлялся он с амурами, с французскими маркизами, утопающими в пурпуре бархата и шелках, с напомаженными генералами, с напыщенными отпрысками королевских фамилий. Но одно полотно...

Это был женский портрет. Написал его столетие назад русский художник Венецианов. Алоиз никогда не слышал о нем. И не из тех это полотно, что запоминаются с первого взгляда... Портрет напомнил Алоизу его мать. Нет, не внешним сходством, чем-то другим, что заставило задрожать руку. Быть может, славянская кровь роднила его мать с женщиной на потемневшем полотне. Рисунок сжатых губ или выражение доброго, немного печального лица, озаренного справа неярким желтоватым светом, наверно свечой.

Алоиз снял портрет с мольберта, поставил к стене, за другие картины. Загрунтовал молодого лорда-охотника с поджарым легавым псом. Неделию спустя русская крестьянка, неведомая Алоизу и в то же время странно близкая, открылась снова.

И... на этот раз он тоже не смог положить мертвящие белила на это живое лицо. Он отставил портрет. Теперь он стоял, не загороженный ничем, постоянно на виду у Алоиза.

Губы ее словно шевелились. Вот-вот заговорит! Наваждение какое-то исходило от портрета. Глядя на него, Алоиз не мог не думать о своей матери, о родном Прешове. Оживал в памяти ее голос. Бывало, Алоиз уверял себя и других, что для избранных на «планете Искусства» не имеют значения понятия «родина», «свой народ». А тут ему страстно захотелось в Словакию. Вернется ли он когда-нибудь на родину? Ведь могущество его – лишь воображаемое. На самом деле он узник, хоть не в арестантском рубище, а в костюме, и не за колючей проволокой, в бараке, а в комфортабельном загородном доме. Он пытался убедить себя, что ему дали свободу, – теперь иллюзия рассеивалась. И все это сделала с ним пожилая женщина на полотне русского мастера.

Фронт между тем приближался. Красные двигались к Одру. Все чаще грохотали зенитки, багровело небо над городом. «У Германа, видать, нет больше самолетов», – говорил садовник Ян, старик из онемеченного литовского племени куришей, обитающего на побережье. Германом называли в народе маршала Геринга. Фон Шехт торопил художников. А Крачу все тяжелее давалась работа. Что из того, что состав, изготовленный «Фарбениндустри», легко смывается! Наступает развязка войны, трагическая для Германии развязка, и может статься, некому будет снять камуфляж, восстановить картины. Теперь даже на амуров, на маркиз, на юных лордов не поднималась рука. Алоиза томил страх. Ему чудилось, он хоронит их навсегда. Им уже вовек не увидеть

божьего дня.

– Але тен образ... Портрет я тот захранил.

Он вынул его из рамки, свернул, положил в укромное место. Фон Шехт не узнал. Когда к Кенигсбергу подступили русские, он редко показывался на вилле. Хозяйничал его помощник, обер-лейтенант Бинеман. Толстый, как Геринг. По его приказу вещи упаковали, приготовили к эвакуации. Но русские придвинулись еще ближе, виллу пришлось оставить. Там расположился немецкий батальон.

Крача и Берка поместили в лагерь для военнопленных. В особом бараке, со смертниками. Да, Алоиз и его товарищи по заключению были обречены. Они ведь имели дело с ценностями, грузили их, закапывали. Слишком много знали эти люди, чтобы их можно было оставить в живых.

Бедняга Ялмар – тот погиб на другой же день в сквере возле Академии художеств. Там рыли котлован. Разорвался снаряд...

Алоиз сжал пальцы и замолчал.

– У фон Шехта была переводчица, украинка, – сказал я. – Катя Мищенко.

– Слечна Катя!

Да, маленького роста, в зеленоватой кожаной куртке. Он видел ее всего два раза. Фон Шехт привез ее как-то осенью, показывал ей картины; она читала ему надписи. Алоиз заговорил было с ней по-русски, но фон Шехту это не понравилось, он под каким-то предлогом отослал его. Нет, Катя вряд

ли знала о маскировке трофейных картин. В мансарде у художников она не была.

А вторая встреча с ней... О, она произошла при совершенно других обстоятельствах. Очень печальных. Накануне штурма Бинеман и слечна Катя приехали, как обычно, к воротам лагеря на грузовике.

– «Опель» с белыми полосами на кузове? – спросил я.

Да, с белыми. На этот раз пленных повезли в Орденский замок за Янтарной комнатой. Алоиз слышал о ней раньше от фон Шехта, но никогда не видел. Ящики, помеченные буквами «В» и «Z», лежали во дворе. Катя очень волновалась за эти ящики, напоминала: «Осторожно, там стекло». Янтарь ведь прикреплен к зеркалам.

«Да, все это так, – думал я. – Ту же сцену наблюдал Моргензанг, хозяин кабачка».

Когда покинули замок, начало темнеть. Катя и Бинеман сидели в кабине. Ехали долго, не меньше часа. Сбились с дороги. Алоиз слышал, как шофер открыл дверцу и окликнул прохожего: «Где улица Мольтке?» Бинеман выругал шофера. Нельзя, мол, так громко! Кто-то из эсэсовцев засмеялся и бросил: «Мертвые не болтают». У Алоиза мороз подрал по коже от этих слов.

Машина остановилась во дворе. Его с четырех сторон замыкали стены полуразрушенного нежилого дома. Бинеман развернул бумагу. У него был подробный план тайников.

Вырыли котлован. Слечна Катя сказала, что ящики на-

до опускать туда. Только осторожно! Работали в молчании. Один пленный подмигнул Алоизу, подзывая к себе, но едва открыл рот, как получил удар прикладом. «Мертвые не болтают», – отдавалось в мозгу Алоиза. К кому это относится – понять нетрудно.

Неужели конец? Очень хотелось Алоизу заговорить со слечной Катей. Ей-то наверняка известны намерения немцев! Улучив момент, тихо поздоровался, назвал себя. Она отпрянула. Не узнала или боялась чего-то...

Через минуту она опять была рядом. Протянула руку, чтобы поддержать ящик. «Так, так. Не бросайте!» – услышал Алоиз и вдруг ощутил в кармане что-то тяжелое. Когда Бинеман отвернулся, сунул руку. Пистолет! Русская слечна дала ему оружие.

– Я стыдился, господин офицер. Вельми! Слечна, такая статечная... Храбрая, да? А я, представьте себе, даже не умею стрелять.

С винтовкой он бы еще управился. А пистолета он и не держал ни разу. Очень, очень было стыдно. Не решился Алоиз и передать оружие товарищу.

Ящики засыпали землей, битым кирпичом, всяким хламом. Мотор «опеля» затарахтел; пленные двинулись было к машине, но эсэсовцы загородили им путь. Бинеман и Катя уехали. Алоиз больше не видел слечну Катю.

Эсэсовцы построили пленных и повели под арку, в изрытый переулок, через сад, мимо покосившихся сторожек,

смутно черневших в полумраке; через поваленные проводочные заборы, по аллее, на пустырь; мимо зениток, задравших к небу свои стволы; сквозь жесткий кустарник, куда-то за черту города, в глухую темень. «Теперь конец!» – подумал Алоиз. И его – художника, творца – расстреляют вместе с остальными. Вместе с каким-нибудь мужиком, башмачником, углекопом! Ноги его слабели, он отставал. В спину больно упиралось дуло автомата.

Конечно, его убили бы. Смерть шла позади, по пятам. Если бы не русские...

На пустыре стали рваться снаряды. Русские снаряды. Советская артиллерия открыла огонь по городу. Не молчала она и днем, а сейчас залпы слились в сплошной гул. Тот эсэсовец, который подталкивал Алоиза, залег, схватил его за балахон и потянул вниз. Алоиз вырвался. «Бежим!» – крикнул ему кто-то в самое ухо, и в тот же миг застрочил немецкий автомат. Кусты спасли его. Он наткнулся на завал из обрушившихся бетонных глыб, замер. Полоснул луч фонаря, визжа, защелкали над головой пули, посыпалась за ворот щепенка. Обозначилась щель между глыбами. Алоиз юркнул туда. Автоматы все еще беспорядочно строчили, потом все затопило оглушительным взрывом. Алоиз отдышался и побрел по узкому зигзагообразному проходу, натываясь на выступы, на торчащие концы порванной железной арматуры.

Ночь он провел в заброшенной прачечной. Утром в чьей-то квартире с выбитыми рамами нашел корку хлеба и па-

кет эрзац-чая из травы. Вспомнил про пистолет, выбросил, – плохо будет, если поймают с оружием. Прятался три дня, избегал людей, пока не увидел красный флаг на фабричной трубе.

Так закончил свой рассказ Алоиз Крач. Потом несмело поднял на меня глаза, спросил:

– А Катя, господин офицер? Она жива? Она с вами?

Я опустил глаза.

– Она жива? – повторил он. – Господин офицер, они имели цель, значит... уничтожить всех, кто знал...

– Она, наверное, жива, – ответил я. – Она должна быть жива. Мы найдем ее!

Не мог я сказать иначе.

Глава 6

Тревога за Катю после беседы с Алоизом Крачем усилилась.

«Девочка! Наивная девочка!» – твердил я про себя. Отдала свой пистолет, осталась без оружия. Понятно, пожалела обреченных, пыталась помочь, но ведь она же совсем не знала Крача. Под носом у эсэсовцев сунула ему пистолет в карман. И без всякой пользы! Стоило так рисковать из-за этого хлюпика, труса!

А между тем ей-то следовало быть крайне осторожной. Фон Шехт не все доверял ей. Маскировку картин от нее скрывали.

Фон Шехт испугался, когда она заговорила с художником. Почему? Разумеется, лишние свидетели ему нежелательны, будь то русские или немцы. Но фон Шехт мог иметь еще иные основания не доверять Кате. Она так неопытна в конспирации, что гитлеровцы дознались, кто она. Фон Шехт, Бинеман приглядывались к ней, играли, как кошка с мышью...

И опять на память пришел Кайус Фойгт, шофер. Нет, не мог я преодолеть инстинктивной, невольной враждебности к нему. Умом-то я сознавал – не все немцы фашисты. Но до сих пор для меня, фронтовика, все немцы были врагами. С какой стати я должен делать исключение для Кайуса Фойгта?

Он был с ней на вилле при мне. Он получил самое наглядное доказательство связи переводчицы Мищенко с нами и не преминул выслужиться перед нацистами.

Фойгт выдал ее! Выдал!

Все это я высказал Бакулину. Он разубеждал меня. По его мнению, я сужу чересчур поспешно. Фон Шехт вряд ли разгадал ее. Нет! Не поехала бы она тогда на улицу Мольтке, к котловану. Не допустили бы Катю к тайнику. А что касается пистолета... Трудно упрекать ее. Поставим себя на ее место. Пленные закапывают ящики с ценностями. Надо запомнить место, передать нашим. Хорошо, если удастся дожить, встретить советские войска в Кенигсберге. А если нет? Кто укажет место? Пленных собираются расстрелять. Не попытаться ли спасти хоть одного? Авось он отобьется, убежит!

– Иной раз без оружия лучше, – сказал майор. – Риска меньше.

Трезвая логика Бакулина обычно покоряла меня. Но сейчас мне чудилось что-то нарочитое в его тоне. Не взялся ли утешать меня?

– Риска меньше? – отозвался я. – Значит, ей грозила опасность. Не отрицаете?

Нет, этого он не отрицал. Крач прав: тех, кто зарывал, прятал награбленные ценности, гитлеровцы уничтожали, пленных и даже своих солдат. Факты установлены. Но похоже, Катя была очень уверена в себе. Очень!

Это «очень» несколько ободрило меня. Надежда была

нужна мне, как воздух, как хлеб. И снова, в который уж раз, я говорил себе, что отчаиваться рано, что в Кенигсберге мы недавно, что Катя, может быть, ранена, находится где-нибудь у местных жителей, у друзей, и почему-либо не может дать знать о себе. Или ведет поиск, сложный, тайный поиск, и нельзя ей открыть себя. Не пришло еще время!

Бакулин между тем обдумывал вслух показания Крача.

– Для нас он находка. Ах, какой урок ему жизнь дала! За-мечательно! Мы же из его рук Янтарную комнату получим. Удача, Ширяев, большая удача. Что с тобой?

Наверное, я побледнел. «На свалку», – вдруг вспомнились мне слова Сторицына.

– Товарищ майор, – пролепетал я. – Он же ничего не знает там... Он...

– Кто?

– Сторицын. Он выкинуть хотел картины...

– Что же ты молчал? Эх, голова! – Он подвинул мне полевой телефон. – Вызывай «Напильник», потом «Яхонт» про-си...

Связисты на вилле не числились в нашей армии. Они при-были из резерва Главного командования, и созвониться до них было мучительно трудно.

Я бросил трубку.

– Тише! – улыбнулся Бакулин. – Поезжай-ка, это всего вернее. Вряд ли там выбросили картины, но...

«Что, если выбросили?» – волновался я. Накрапывал

дождь. Мне представились картины, валяющиеся на свалке, мокнущие, испорченные.

Всю дорогу я торопил водителя. У моста через капал, как назло, сгустилась пробка. За городом, на перекрестке, пропускали колонну машин с лодками и бронетранспортеры, набитые моряками-десантниками. Часа два отняла эта поездка.

Не чуя под собой ног, я влетел в подвал к Сториныну и остановился, почти ослепленный.

Помещение сверкало огнями, как станция метро. (связисты подтянули десяток лампочек разных калибров и вдобавок повесили огромный, больничного типа, рефлектор. Сторицын буквально царил здесь. Вокруг него суетились солдаты, что-то сколачивали, что-то подавали. Сторицын сидел в знакомом резном кресле. Рядом, на полу, раскрытый чемоданчик профессора с «колдовскими снадобьями», как он говорил мне, смеясь, утром. Перед ним на столе – одно из творений Алоиза Крача, зубчатые, паукообразные трещины разбегались по тусклым, смещенным поверхностям. В углу полотна белеет прижатый стеклом квадратик материи.

Вот солдат по знаку профессора сдвинул стекло, остальные настороженно загудели. Сторицын поднял материю кончиками пальцев – и словно свет дня прорезал сумрак. Открылась яркая голубизна солнечного летнего неба!

Секунду я глядел как замороженный в это внезапно открывшееся оконце, которое только что закрывал кусок фла-

нели. Солдаты умолкли. Потом я заметил рядом с профессором, на табуретке, открытый чемоданчик, а в нем склянки, сталь инструментов.

– Ну что, орел? – Сторицын откинулся в кресле и потер глаза, как будто и его поразила эта яркая, чистая, освобожденная голубизна.

Мне нечего было сказать.

Так вот какие «колдовские снадобья» хранились в его чемоданчике! Значит, он предвидел!

Сторицын взял свежий квадратик фланели, смочил бесцветной жидкостью из пузырька и опустил на самую середину полотна. Солдат, истово помогавший ему, отрезал ножницами еще лоскут, еще... Теперь компрессы легли цепочкой через все полотно по диагонали.

Что же скрыто под маскировкой? Все затаили дыхание, когда Сторицын взглянул на часы и торжественно, словно священнодействуя, начал снимать компрессы. В одном окошечке – листва дерева, серебрящаяся на ветру. В другом – большеухая голова ягненка. В третьем – зелень травы, желтоватый цветок с четырьмя лепестками взлет.

– Пейзаж французской школы, – сказал Сторицын. – Автор пока неизвестен. – Он улыбнулся, окинув взглядом свою притихшую аудиторию. – Верхний слой недавний, сходит легко. На редкость легко. Верно, специальный состав какой-нибудь. В прежние времена контрабандисты тоже вот так замазывали картины.

И опять посыпались из него разные истории. Вспомнил живопись древнерусского художника Рублева: ее восстанавливали, преодолевая пять-шесть слоев краски. Тут не злой умысел, – старания иконописцев, которые силились обновить, омолодить творение славного мастера. Делали это часто неумело...

– Товарищ полковник, – проговорил я, когда он умолк, чтобы отдышаться. – Это все, – я показал на картины, – только начало. Мы и Янтарную комнату добудем.

И я рассказал ему про Алоиза Крача. Сторицын просиял. – Да вы счастливый! – Он стиснул мои руки. – Bravo! Везет мне с вами. Ну, с Янтарной подождем несколько дней, все равно сейчас с транспортом сложно... Спасибо вам, спасибо, милый. – Он обнял меня, затем обернулся к солдатам. – Янтарная комната, друзья, находилась в Пушкине, под Ленинградом...

Он говорил, а передо мной, как не экране, пронеслась история Янтарной комнаты. Оказывается, янтари для нее были собраны давным-давно на берегу Балтийского моря литовцами и латышами. Не для себя, для ливонских псов-рыцарей, владевших Прибалтикой.

Янтарь высоко ценился. Это древняя застывшая смола – наследство дремучих субтропических лесов, росших здесь десятки миллионов лет назад. Янтарь называли «солнечным камнем», «морским золотом».

Прусский король Фридрих I, взбалмошный, тщеславный,

мечтавший состязаться в роскоши с королем Франции, любил все французское. К себе в Потсдам он выписал мастера – Готфрида Туссо – и поручил сделать для дворца янтарный кабинет.

Несколько лет трудился Туссо. Руководил работой видный немецкий архитектор Шлюттер. В 1709 году они закончили кабинет – пятьдесят пять квадратных метров мозаичных панно. Серебряная фольга, подложенная под камни, усиливала их блеск. Панно укрепили, но, видимо, не рассчитали тяжести. Они обрушились. Король так разгневался, что велел запереть мастера Туссо в тюрьму, а Шлюттера выслал из Пруссии.

В 1716 году в Пруссию прибыло русское посольство во главе с императором Петром. Фридрих принял русских с большими почестями. Еще бы! Ведь Россия разгромила шведов, давних врагов Пруссии. И вот Фридрих показывает Петру свой дворец. Янтарного кабинета уже нет, он сложен в ящики. Фридрих может только привести гостя в комнату, где были панно, но надо же похвастаться! Петр заинтересовался. Создателя кунсткамеры занимали всяческие редкости. И тут Фридрих совершил поступок, который до сих пор историки как следует не разгадали.

Он подарил янтари Петру.

Дело в том, что Фридрих был страшно скуп. Он никому не делал таких дорогих подарков. Значит, Петр очаровал его или... По некоторым данным можно предполагать, что

у Фридриха из-за кабинета были неприятности. Он слишком погорячился со Шлюттером, с Туссо. Кроме них, некому было восстановить кабинет. Да и средств не хватало в казне...

В Санкт-Петербург кабинет был доставлен в 1717 году на подводях. Но Петр не собрался установить его во дворце. Надо же было отыскать мастеров! Погруженный в государственные заботы, Петр как будто забыл о прусском подарке. Вспомнила о нем много лет спустя императрица Елизавета.

Вот шагают по дороге из Петербурга гвардейцы, шагают, обливаясь потом, стиснув зубы от боли в затекших руках. У каждого – зеркало с янтарной мозаикой. Дорога булыжная, с колдобинами – не то что нынешнее шоссе, – и в телеге сокровище не довезти. До Царского Села двадцать пять верст. Там, во дворце, отведено помещение для Янтарного кабинета. Оно больше прежней комнаты, в Потсдаме. Как же быть? Янтарей не хватит! Но у зодчего Растрелли, направляющего перестройку дворца, уже есть проект Янтарной комнаты. Не только янтари будут украшать ее, но и зеркальные пилястры, мозаика из уральских камней, живопись на потолке. Великолепный замысел! У Растрелли хорошие помощники, русские умельцы Иван Копылов, Василий Кириков, Иван Богачев.

Разумеется, я не мог запомнить тогда все факты, все имена в рассказе Сторицына. Эти строки я пишу сейчас, порывшись в библиотеке. Но вот что засело в памяти: Янтарная комната – это наше русское достояние! И какое прекрасное! Кабинет прусского короля послужил только материалом для

гениального Растрелли, – он создал совершенно новое произведение искусства.

Сторицын словно ввел нас в Янтарную комнату. Некоторые солдаты жмурились, до того выразительно описывал профессор блеск янтарей, их медовый огонь в сочетании с холодным сверканием зеркал, с сочными красками уральских камней...

Дослушав Сторицына, я уехал. Профессор решил остаться у связистов на два-три дня, проверить еще несколько картин и затем отправить все собрание полотен в Москву для полной реставрации.

Я спешил в город. Поиск продолжался.

Глава 7

За северной окраиной Кенигсберга простиралось гладкое поле, кое-где поросшее можжевельником. Туда свезли захваченные у гитлеровцев автомашины.

Отсвечивая на солнце, длинными рядами стояли грузовики: «опель» и «даймлер-бенц», верткие легковые «бе-эм-ве» мышиноного или синеватого цвета, машины французских, итальянских марок, машины-радиостанции и машины-рестораны, автобусы. Тысячи автомашин. Они колесили по дорогам многих стран Европы, возили на себе надменных завоевателей. И вот отъездились, кончили свою службу в гитлеровском вермахте, встали намертво, упершись в ограду кладбища. Символическое зрелище!

У входа в караульную я застал черноволосого офицера, яростно чистившего пуговицы.

– Вы до старшины Лыткина дойдите, он у нас голова, – посоветовал он.

Тропинка вилась по берегу ручья к домику, который был когда-то, вероятно, целиком каменным. Снарядом снесло верх, зданьеце надстроили досками, фанерой, листами железа. К домику примыкает загородка, составленная из всякого лома: тут и доски от кузова, дверца кабины, пружинный матрац и нечто вроде парниковой крышки. Там кудахчут куры, белесый, наголо обритый человек швыряет им зерно.

– Приблудные, – сказал он мне. – Зачахли без хозяина, бедняги. Слушаю вас.

«Опель» с белыми разводами тут не один. Номер записан, как же! Однако проще всего прогуляться по автопарку.

Курочка взлетела ему на плечо; он погладил ее, сбросил, и мы пошли.

– Ох, драндулет! – восклицал старшина. – Может, сам Гитлер катался! А эта таратайка? Вон колеса покорябаны! На мину наехала.

Их немало тут – раненых машин, наскочивших на мину, побитых осколками, продырявленных пульей партизана. Эмблемы на бортах – слоны, носороги, змеи, волки – напоминали о разгромленных немецких дивизиях. Лыткин развеселился; он посмеивался, постукивал палкой по радиаторам, по стеклам, сыпал прибаутками.

– Система Монти, день работает – два в ремонте. Хлипкие эти «бе-эм-вейки» последних выпусков, нитками сшиты. А эта! Бывшая роскошь. Марка «мерседес», а точнее – «Гитлер капут!». Поди, генералов возил, не ниже. Да-а-а, пропадай моя телега, все четыре колеса! Вон американец! Хау ду ю ду! В немецком плену побывал, никак...

Действительно, среди малолитражек высился громадный крытый «студебекер». Немного подальше подъемный кран на колесах опустил свой журавлиный клюв над кузовом грузовика. Волнистые развodia...

Я бросился вперед. Да, сомнений нет, – «опель»! Номер,

пунктир пробоин на заднем борту... Я провел по ним рукой – крохотные лучинки впивались в кожу. Тот самый «опель»! Он словно ждал меня здесь!

Меня отнесло в прошлое, в тот вечер, когда я провожал Катю за передний край. Так же подалась рукоятка дверцы, так же щелкнула... И матерчатая куколка в красных штанах, в клоунском колпачке была знакома мне. Ее, верно, повесил Кайус Фойгт, – на счастье, как принято у немцев.

Пустая кабина дохнула холодком, запахами кожи и машинного масла.

– «Опель» грузовой у них – не ахти что, – тараторил Лыткин. – Вот «опель-капитан», легковушка, – другой коленкор. Картинка!

Я не слушал его. Я смотрел на бурые пятна, расплывшиеся на темной обивке: одно – на спинке, другое – на сиденье. Потом я разглядел еще пятна – на резиновом рубчатом коврикe, у рычагов.

Скованный ощущением невзгоды, я не двигался. Я не мог оторвать взгляда от этих пятен. Кровь! Я слишком часто видел ее, чтобы ошибиться.

– Нашлась машина?

Солнце било старшине в лицо, он шурился, сетка морщин дрожала у висков.

– Откуда здесь кровь? – спросил я.

– Немец тут лежал, – ответил он. – Мертвый. Его кто-то тесаком, говорят...

Морщинки застыли, улыбка на миг сползла с его лица. Должно быть, мой вид встревожил его.

– Кто вам сказал?

– Хлопцы. – Он попытался обрести прежний тон. – Хлопцы, которые машину на буксир зацепили. Говорят, здорового фрица из кабины выбросили, пудов на семь. Обер-лейтенанта... Хлопцы едва грыжу не заработали...

Я прервал его болтовню. Какие хлопцы, какой части?

Лыткин покрутил головой. Мало ли войск проходило тогда! Немцы только что сдали город. Кое-где еще постреливали. Пожары, взрывы, как в котле все кипело. Хлопцы хотели себе взять машину, а старшина с командой собирал брошенную автотехнику и наткнулся на них.

– Отдай, не грехи, значит. Не положено! «Опель» не старый еще, поедит. Кровью запачкан только. Некрасиво. Я велел моему фрицу подобрать...

Какому фрицу?

Меня интересовало все, каждая подробность, касающаяся этой машины.

– Каин. – Старшина засмеялся. – По-ихнему Кайус, а по-нашему-то Каин. Каин Авеля убил.

– А фамилия?

– Да как его... фамилия, фамилия... – Он почесал темя. – Запомню. Пройдемте ко мне, записано ведь где-то... А вам зачем?

Последние слова он произнес после паузы, тихо и не очень

решительно.

– Я из разведки, – сказал я.

Из разведки – значит, задание специальное, секретное. Это он понимал. Любопытство разбирало его; он присмирел, стал меньше говорить, но больше ни о чем не спрашивал меня.

Я шагал, взволнованный догадками, нетерпением. Кто убитый обер-лейтенант? Бинеман? Да, толстяк Бинеман! Он и Фойгт были с Катей накануне штурма. Странно, что немец, работающий здесь, в автопарке тоже Кайус. Совпадение, конечно. Зачем я спросил его фамилию? Наверняка она ничего не скажет мне.

Кто же убил Бинемана? Катя не могла бы ударить тесаком. Шофер Кайус? Одно ясно – была схватка...

Домик старшины, внешне такой жалкий, внутри поразил меня чистотой и уютом. Тикали ходики с кукушкой. Широкая белоснежная скатерть покрывала маленький столик; углы ее с шуршащей накрахмаленной бахромой свешивались до самого пола. За окном кудахтали куры, и казалось, глянешь туда и увидишь мирную сельскую улицу, «порядок» крепких, смолистых, бревенчатых изб.

Лыткин зашел за занавеску, вынес планшетку, высыпал из нее на стол бумаги, письма.

– Он здешний, фриц, – приговаривал он, развертывая мятый лоскуток. – Вот адрес. Предместье Розенштадт, Шведенштрассе, то есть Шведская улица, семнадцать, Кайус Фойгт.

– Фойгт!

Я, должно быть, вскрикнул. Лыткин испуганно уставился на меня. Невероятно! Кайус Фойгт здесь! Вот уж кого я меньше всего ожидал встретить! Кайус Фойгт! Неужели тот самый?! Не веря глазам, я схватил лоскуток и перечитал.

– Старшина! – выговорил я. – Он мне нужен. Немедленно.

«Он же шофер “опеля”, – чуть не прибавил я. – Того “опеля”. Он должен знать все: о Кате, об убитом Бинемане, – словом, все!» Но я сдержался.

– Извините, – сказал Лыткин. – Он дома сегодня.

Последние дни на автобазе проверяли инвентарь. Готовили отчет для начальства, днем и ночью корпели. Кайус Фойгт – прилежный, аккуратный немец, он вполне заслужил отдых.

Что ж, не беда. Пожалуй, там, в Розенштадте, еще удобнее будет беседовать с ним.

– Уезжаете? – протянул старшина огорченно. – Покушали бы сперва. А? Товарищ лейтенант, я мигом вам... Разнослов нет, однако яичницу – шнель фертиг. И стопочку. А?

– Спасибо, – сказал я. – В другой раз непременно.

Я долго тряс его руку, преисполненный благодарности и симпатии к толковому и радушному старшине.

Нет, я не мог терять и секунды.

«Кайус Фойгт, Кайус Фойгт», – стучало в мозгу, пока я бежал к «виллису». Водитель дал газ; прохладный ветер освежил меня. «Однофамилец, тезка», – сказал я себе. Я не решился верить удаче и все-таки радовался, торопил водителя.

Городом роз это предместье называли, по-видимому, в насмешку. Ветер с моря свободно гулял по унылым улицам поселка, кое-где шевелил дырявые рыбацьи сети, развешанные для просушки. Ни клумбы, ни деревца. Низенькие, с черными толевыми крышами домики жались к огромному десятиэтажному фабричному корпусу, словно искали защиты от непогоды. Трубы фабрики не дымили, в проломах молчали станки.

У заколоченной пивной крутил шарманку старик в шинели с чужого плеча. Я спросил дорогу. Он пожевал губами.

– Вам кого там?

Я сказал.

– Фрау Лизе вы застанете. – Старик повернул рукоятку, потом вздохнул: – Несчастливая Лизе. У нее было пятеро детей, самая большая семья в Розенштадте. Бог мой, все пошло прахом. Подождите, господин офицер.

Шарманка скрипнула и вдруг лихо, в ритме кадрили, затянула песню о Стеньке Разине. Старик бешено крутил ручку, подмигивая мне, и притопывал.

По Шведской улице мы доехали до набережной Прегеля, еще студеного, брызгавшего штормовой пеной. Ветер дул с моря, навстречу реке. Низко, у самых окон дома Фойгтов, кружились, пищали чайки. Балтика много лет обдавала этот дом ветрами, дышала сыростью, свела с него все краски. Даже черепица на крыше, когда-то красная, стала желтоватой. Я позвонил; мне открыла пожилая женщина.

– Кайус сейчас будет, – сказала она, вытирая о передник жилистые руки. – Посидите.

Медленной, усталой походкой она прошла через кухню, открыла дверь в столовую.

Я сел. Со стены глядел на меня, улыбаясь, бородатый мужчина в сапогах выше колен, в кожаной фуражке. Что-то знакомое было в этой фуражке с витым ремешком, торчавшим вперед козырьком, острым, как лезвие. Моряк опирался грудью о штурвальное колесо. «Должно быть, муж фрау Лизе», – подумал я.

Я подумал еще, что в свой дом он, верно, входил согнувшись, – так тут тесно. Однако хозяева, рассчитав каждый дюйм, поместили здесь все самое нужное, без чего не обходится немецкая семья. Между буфетом и поставцом с посудой втиснулась ножная швейная машина под кисейным покрывалом. На кухне – неизменная шеренга баночек на полке с надписями: «мука», «сахар», «соль», «тмин».

И конечно – таблички с афоризмами. Опрятные, в черных рамочках под стеклом. Узорчатые строки готического письма напоминают о том, что утренние часы самые лучшие, – грех залеживаться в постели, что бережливость – мать богатства. Таблички советуют есть побольше капусты – это полезно для здоровья. Ни с кем не ссориться, никому не завидовать.

Вошла фрау Лизе с мокрой тряпкой, обтерла буфет, таблички.

– Кай уехал ловить рыбу, – сказала она. – Он должен сейчас вернуться.

Как тянуло меня расспросить ее о сыне! «Нет, не надо спешить», – приказал я себе.

– Раньше мы все были рыбаками, – молвила фрау Лизе. – Мой Курт тоже. – Она показала на портрет. – Потом построили верфь. Розенштадт стал рабочим поселком. А сейчас все замерло, работы нет, люди вытащили старые снасти...

Рассказывала она без выражения, безучастно. И голос у нее был усталый, глухой.

– У вас была большая семья?

– Да. – Она не удивилась, не спросила, откуда мне это известно.

Два сына погибли на фронте. Один в Греции, другой в России. Моника, дочь, служила в ателье мод. В здание попала английская бомба, все разнесла. Остались два мальчика – Кай и Венцель. Венцеля, пожалуй, и считать нечего – не человек он.

Фрау Лизе подошла к двери, толкнула ее, поманила меня пальцем.

Я увидел обои в голубых цветочках, неприбранную койку. Над ней нагнулся плечистый, всклокоченный юноша. Он не заметил нас. Руки его, большие, с длинными белыми пальцами, были в непрерывном, судорожном движении. На койке лежал ранец. Венцель укладывал в него вещи – мыльницу, зубную щетку, носовые платки, пачки сигарет. Потом он

пробормотал что-то, опрокинул ранец и высыпал все на одеяло.

– Теперь опять будет укладывать, – произнесла фрау Лизе с какой-то тупой отрешенностью.

Она закрыла дверь.

В прошлом году весной Венцель приехал в отпуск. Вначале был весел, всем сообщал, как ему повезло, – рота попала под огонь «катюши», уцелело только шесть человек. Только об этом и говорил.

– А в последний день побывки стал надевать форму и... это и случилось. Ему кажется, он что-то забыл или потерял...

– Война кончается, – сказал я.

– Его трудно вылечить. Врач сказал, «катюши» ударили внезапно. И Венцель впервые столкнулся с ними, в том-то и дело. Да, в том-то все дело, – повторила фрау Лизе. – Это сильно действует на психику. Вот как повезло ему.

«Скоро мир, – подумал я. – Разрушенный город оживет, задымят заводы, а бедняга Венцель будет вот так каждый день собираться на фронт».

– Ваш Гитлер виноват, – сказал я со злостью. – Ему поклонитесь за это.

– Мы-то не звали Гитлера, – ответила она. – Партийным бонзам, которые отсиживались в тылу, тем он нравился. – Голос фрау Лизе стал громче. – А мы простые рабочие. Честные рабочие. Мой Курт был с Тельманом.

Теперь я понял, почему такой знакомой показалась мне фуражка Курта – кожаная, угловатая, с витым ремешком. Тельман носил такую же!

Фрау Лизе вышла за водой. За окном пицали чайки, их тени носились по комнате.

Еще битый час сидел я в ожидании Кая, томимый нетерпением. Я хоть и решил не задавать вопросов, они все сами соскальзывали с языка, и я кое-что узнал о Кае. Ему двадцать пять лет. Шел по стопам отца – плавал матросом на портовом буксире. Если бы не война, был бы теперь, наверно, рулевым. Увлекался радио, строил приемники. Слушал передачи из Москвы, вместе с отцом. В армии Кай служил шофером. Да, шофером на грузовике. Слыхала ли фрау Лизе о фон Шехте? Нет. Может быть, Кай и называл его, она плохо помнит имена. Неладно с памятью.

«Он или не он? – гадал я. – Неужели тот самый Кайус Фойгт!» Я все еще не верил удаче. И, однако, я не очень удивился, когда передо мной выросла долговязая фигура в зеленом солдатском кителе. Он, он, собственной персоной! Кай опустил корзину с уловом, выпрямился, едва не ударившись головой о притолоку, и узнал меня.

– Господин лейтенант! – воскликнул он, и лицо его осветилось радостью.

Разглядывая его, я чувствовал себя избранныком Случая, счастливого Случая, сведшего меня со старшиной Лыткиным и теперь – с Кайусом Фойгтом, шофером «опеля». Но

я ошибся. Фойгт вовсе не случайно оказался под началом старшины на базе трофейных автомашин.

Глава 8

Когда ящики с янтарем, опущенные в котлован, засыпали, а землю заровняли, обер-лейтенант Бинеман поставил на своем плане синим карандашом птичку.

Пленных увели, Бинеман и Катя сели в кабину «опеля» рядом с Каем. Стрелка бензоуказателя угрожающе кренилась. Машина пошла на заправку.

Бинеман сперва жадно курил, потом обратился к фрейлейн.

– Ловко вы ускользнули от красных, Кэтхен, – сказал он. – Судя по пробоинам в кузове, вас расстреливали чуть ли не в упор.

Кай насторожился. Не заподозрил ли Бинеман правду? Тогда беда! Но нет, слава богу! Обер-лейтенант говорил как будто без всякой задней мысли. И пожалуй, он был даже особенно вежлив с фрейлейн. «Кэтхен», – повторял он.

Бинеман давно был равнодушен к фрейлейн Катарине, и он – Кайус – к этому привык. Фрейлейн, – о, она умно играла свою роль! Бинеману она давала понять, что подполковник фон Шехт ухаживает за ней. И так она держала на расстоянии обоих. О, советские – удивительная нация! Сколько находчивости! Какая смелость у молоденькой девушки!

– Воображаю, как вы перепугались тогда, Кэтхен, – разглагольствовал Бинеман. – Вряд ли вы мечтаете о свидании

с соотечественниками, ха-ха!

Фрейлейн ответила что-то ему в тон. Обер-лейтенант придвинулся к ней.

– Вы беспечны, Кэтхен. На вашем месте я бы не задержался в Кенигсберге. Да, да, уж принял бы меры. Хорошенькая девушка всего может добиться. Вы же видите, Кэтхен, как складываются дела. Русские не сегодня завтра будут здесь.

Кайус опять наострил уши. Явно неспроста завел Бинеман такую речь.

Фрейлейн Катарина вскинула на него глаза – о, она поразительно умела это делать. Получалось совершенно по-детски.

– Я бы сию же минуту, – вздохнула она. – Но как? Из Кенигсберга и кошка не выскочит.

Бинеман засмеялся. Он как-то очень противно засмеялся, и Фойгт охотно заехал бы ему в жирную физиономию. Обер-лейтенант смеялся нагло, победоносно, выпятив живот, словно вот сейчас он скажет что-то такое, что покорит русскую фрейлейн и даст ему власть над ней.

– Кэтхен, – выдохнул Бинеман и взял ее руку. – Если вы доверитесь мне, я вам гарантирую...

– Что? – спросила она.

– Спасение. Сегодня же. Медлить нельзя, Кэтхен. Соглашайтесь.

При этом он мял ее руку, дышал ей в лицо. Он стал упрашивать фрейлейн Катарину бежать с ним, поселиться на За-

паде, там, где сейчас американцы и англичане. Каков! Он снял золотое кольцо и начал надевать ей, но куда там! Два таких пальчика, как у фрейлейн Катарины, могли войти в кольцо.

Но фрейлейн даже не улыбнулась, она кусала губы. Понятно, положение ее было не из легких. Просто взять да и отвергнуть план побега она не могла. Ей следовало вести свою роль до конца.

Наконец она освободила руку и сказала, что не верит Бинеману. Бежать неммыслимо.

– Вы не знаете, Кэтхен. – Он ударил себя кулаком в грудь. – О, вы ничего не знаете! Неммыслимо для воинской части, да, верно. Ее увидят с воздуха. Но два человека! Путь есть, клянусь вам!

И Бинеман стал объяснять. Кайус, слушая его, поглядел на фрейлейн и почесал ухо, что означало на языке жестов, выработанном ими, – «весьма сомнительно». Бинеман расписывал подземелья Кенигсберга. Правда, о них известно любому ребенку. В любом путеводителе можно прочесть, что еще в средние века подземные ходы соединяли Орденский замок с внешними укреплениями. Впоследствии сеть туннелей расширилась. Под городом возникли заводы вооружения, склады, квартиры. Есть постройки, уходящие в глубину на шесть-семь этажей. Но чтобы можно было подземными коридорами выбраться за черту города, – нет, об этом Кайус не слыхал!

– Мы и Фойгта захватим. – И Бинеман фамильярно хлопнул Кая по колену. – Фойгт хороший парень, он пригодится нам.

Затем Бинеман понизил голос. Кайус выключил мотор; машина катилась некоторое время по инерции, но все равно он разобрать ничего не смог, так как Бинеман перешел на шепот.

Фрейлейн Катарина вдруг свела брови. Обер-лейтенант, по-видимому, сообщил нечто важное для нее.

– Вы уверены? – спросила она резко.

– Клянусь вам, – повторил Бинеман и снова зашептал.

Проклятье! Не уловить ни звука!

Весь остаток дороги до заправочной они беседовали шепотом, и до Кайуса долетали только отдельные слова. Раза два упоминался фон Шехт. Бинеман бранил фон Шехта. «Жулик», «обманщик» – вот выражения, слетавшие с уст обер-лейтенанта, и относились они, насколько Кайус мог догадаться, к начальнику. Похоже, Бинеман проведал о каком-то преступлении фон Шехта.

Когда накачивали бензин, Бинеман взял фрейлейн за локоть. Щеки его пошли пятнами. Теперь он не шептал, но Кайус в это время стоял у колонки, слишком далеко. Потом Кайус вернулся на свое место, к рулю, как раз в тот момент, когда фрейлейн сказала обер-лейтенанту:

– Я согласна.

И руки не отняла...

Кайус Фойгт едва не лопнул от любопытства. Что же затеяла фрейлейн? Бинеман повеселел, иногда покровительственно трепал фрейлейн по плечу, и Фойгту сделалось страшно за нее.

Он выкатил «опель» за ворота. Бинеман велел ехать на квартиру фон Шехта, и Кай переспросил:

– Куда?

Подполковник держал две квартиры в городе и, кроме того, холостяцкую комнату.

– На Кайзер-аллее, – сказал Бинеман.

Дом на Кайзер-аллее был известен Фойгту давно. В нем была кондитерская «Любимый марципан». По воскресеньям отец водил Кая в зоологический сад; они шли по Кайзер-аллее, и Кай получал марципан. Рядом с кондитерской свешивалась вывеска, очень занимавшая Кая. На длинной жестяной хоругви намалеван сказочный старик, темнокожий, с курчавой бородой и со шпагой, в золотом одеянии. «Клуб Черноголовых», – гласила надпись. Собственно, клуб помещался в соседнем доме, очень старом, узком, словно сплюсненном между двумя большими зданиями. Кай спросил отца, кто такие Черноголовые. «Гнездо фашистов», – ответил отец. Гитлер тогда шел к власти; в клубе, как узнал Кай впоследствии, вооружались погромщики. Туда затаскивали честных людей, противившихся фашистской чуме, мучили их.

Еще в ту пору во главе клуба стоял Теодор фон Шехт. Он

и жилье себе устроил в том же здании.

Фойгт остановил машину у подъезда. Катя и Бинеман сошли. Обер-лейтенант велел Кайусу ждать, и фрейлейн кивком подтвердила приказ. Такая досада! Фойгт беспокоился. Его тянуло пробраться следом, подслушать, а в случае нужды помочь фрейлейн.

Прошло минут двадцать. Кайус притопывал в кабине, чтобы согреться. Тревога его все росла. И вдруг...

Фронт загрохотал. Только что была глубочайшая тишина, казалось, война уснула и не пробудится долго-долго. И Кай уже успел привыкнуть к тишине. Может быть, поэтому ожившая канонада прозвучала так грозно. Но нет, ярость ее была и впрямь необычной. Русские явно пустили в ход все свои батареи, выстрелы слились в сплошной воющий гул. И «капюши» проснулись. Они то и дело вставляли в гомон орудий с в ос слово...

Начался штурм.

Где-то близко за домами, взлетали бурные дымки разрывов. Что же не идут? Кайус уже собрался пойти на розыски, как вдруг из подъезда выбежал Бинеман. Да, именно выбежал. Без фуражки, задыхающийся.

В то время было совсем светло, и Фойгт увидел блестящий от пота лоб Бинемана, его блуждающие, злые глаза.

– Где фрейлейн? – спросил Фойгт, он сразу заподозрил недоброе.

Бинеман не ответил. Он рывком открыл дверцу, и его

огромное зело вдавилось в сиденье. Правой рукой, скрытой от Кайуса, он шарил где-то. Чувства Фойгта обострились, он понял: Бинеман достает пистолет. Инстинктивно Кайус схватился за тесак. В ту же секунду в глаза блеснула сталь пистолета. Фойгт изловчился, сжал левой рукой запястье оберлейтенанта, отвел, а правой выхватил тесак и ударил...

Солдат убил своего офицера. Немецкий солдат! Кай перестал даже слышать канонаду – так поразило его то, что произошло. Он ненавидел нацистов, он дружил с русской фрейлейн, но он никогда не думал, что сможет применить оружие против другого немца. Да еще офицера!

Несколько минут Кай стоял у кабины, возле мерного Бинемана, в полнейшем смятении. Что же теперь будет? Надо бежать! Немедленно бежать!

А фрейлейн? Кай бросился в ворота, пересек пустынный двор, поднялся на третий этаж. Дверь была распахнута настежь. Никого! Кай обошел все комнаты, осмотрел все закоулки. Пусто! Похоже, и не было тут людей сейчас. Ни один стул не сдвинут, на всем слой пыли. В камине давно остывшая зола. Кай в отчаянии бродил по квартире, звал фрейлейн. В холодных, запущенных комнатах звенело эхо.

Что же с фрейлейн? Кай отправился к машине, потом вернулся в квартиру. Он решил ждать фрейлейн. Отсиживаться здесь, прятаться от своих – и ждать, сколько бы ни пришлось.

Канонада между тем приблизилась. Днем она утихла и точно разломилась, в паузы втиснулась, рассыпалась пуле-

метная очередь. Русские в городе! Значит, он спасен теперь – солдат, убивший офицера.

Скрываться больше незачем... Да, от немцев уже ни к чему. Теперь каждый заботится о своей шкуре. Кай подошел к окну. Во двор вбежали два немецких офицера-танкиста. Они сорвали с себя кители, запихали в чан с мусором и кинулись в подъезд.

Однако ведь и ему, Каю, не стоит попадаться на глаза русским. Еще в плен угодишь. Домой, домой! Снял в гардеробной штатский костюм, переоделся. Брюки не закрывали щиколоток, пиджак был тесен, под мышками трещало, – неважная маскировка! Еще день и ночь провел Кай в кабинете фон Шехта. Невдалеке, на набережной, заиграла музыка, потом басовитый голос, усиленный репродуктором, заговорил с акцентом:

– Внимание, внимание! Передатчик Советской армии! Немцы! Мы несем вам мир!

У Кая все запело внутри. Он распахнул окно. Голос властно заполнил комнату.

– Мы несем вам мир! – повторил он. – Падение Кенигсберга – это начало падения Берлина.

Кай надел плащ фон Шехта. Пока длились бои в городе, Кай прятался в заброшенных квартирах и среди развалин. Потом осторожно дворами, переулками двинулся на окраину города, в Розенштадт, к себе. У калитки он столкнулся с братом.

– Кончено, – сказал Кай. – Русские здесь.

Брат не понял его.

– Эшелон уходит, – пробормотал он, глядя куда-то мимо Кая. – А я вот... позабыл документы. Нельзя же без документов.

Кай влетел в дом. Кончено! Уж для него, во всяком случае, война прекратилась.

Все было бы хорошо, если бы не беда с фрейлейн. Когда он думал о ней, ему виделся Бинеман, выбегающий из ворот, растерзанный, почти безумный. С фрейлейн, наверно, случилась беда. Но возможно, она спаслась от Бинемана и теперь в безопасности, среди своих. Спросить бы у русских! К первому встречному с таким делом не обратишься. Зайти разве к советскому коменданту? Но и тот вряд ли в курсе... Еще не так поймет Кайуса, будут неприятности.

Наконец пришло простое решение: если фрейлейн Катарина не пришла к своим, исчезла, то ее непременно будут разыскивать и постараются выследить и машину, и его – шофера Кайуса Фойгта. Надо пойти навстречу русским! Кайус явился в парк трофейных немецких автомобилей и предложил свои услуги старшине Лыткину. Очень обрадовался, увидев свой «опель».

...Вот все, что я узнал от Кайуса Фойгта.

За точность изложения я не ручаюсь, – лет минуло много, некоторые детали, вероятно, забыты.

Все сказанное им слилось в одно – с Катей беда. Бинеман

убил ее. Гитлеровцы уничтожили сотни пленных, закапывавших похищенные ценности. И Катя была опасна для банды фон Шехта, опасна, как свидетельница. Бинеман убил ее и хотел убрать Фойгта.

Я почувствовал боль и слабость. Ужасающую слабость. «Катя погибла, – сказал я себе, – и дальше искать бесполезно». Кай молча смотрел на меня.

– Значит, ее нет у вас? – проговорил он печально.

Однако признаков борьбы в квартире он не заметил. И Бинеман ведь не имел намерения убивать Камо. – напротив, он дорогой предлагал ей обручальное кольцо. Он открыл ей что-то, касавшееся фон Шехта. По всей видимости, она надеялась найти нечто важное там, в квартире фон Шехта.

– Она не пришла к нам, Кай, – сказал я. – Она была без оружия, вот что ужасно.

– Без оружия? – Он наморщил лоб. – Нет, почему вы считаете?..

– Она же отдала свой «манлихер» Алоизу Крачу! Трису, белоручке!

– У нас был еще пистолет, – сказал Кайус. – Такой же «манлихер». Я поднял его под Варшавой на поле боя. Он не числился за мной, понимаете; я никому не докладывал... Он лежал в машине под сиденьем. И я дал ей.

И она не воспользовалась? Мысли мои смешались.

– Я могу вам показать квартиру, – услышал я. – Вы посмотрите сами как следует. Могло статься, я не доглядел то-

гда... Пожалуйста, господин лейтенант.

– Нет, – сказал я. – Не господин. Товарищ лейтенант! Товарищ!

Я крепко пожал обе руки Кайусу Фойгту. Немцу, другу Кати, который действительно вышел ко мне навстречу. Настоящему товарищу.

Глава 9

– Здесь, – сказал Фойгт.

Серый пятиэтажный дом, опоясанный балконами. Бомбы почти не задели его. На балконах – в горшках и лотках – зеленеет салат. «Любимый марципан», – написано над пустыми окнами нижнего этажа. А вот клуб Черноголовых. Золотой нимб святого Маврикия пробит пулей. Лепные фигуры всадников в шлемах украшают фасад. Над входом дата – 1562. Здание изъедено трещинами. Если бы не дома, подпирающие его с боков, оно, верно, рассыпалось бы в прах.

Напротив, за бульваром, превращенным в бурелом, – россыпи кирпича, опаленные стены. Чудом уцелевший квартал кругом охвачен «городом развалин», как прозвали немцы разрушенные центральные районы Кенигсберга. Где-то поет пила – режут дрова для железной печурки, затопленной в подвале, или мастерят подпорки для временного пристанища среди руин. Толстый старик едет на трехколесном велосипеде, везет остатки скарба – подушку, ночные туфли, расписанный незабудками кофейник.

Мостовая усеяна битыми пузырьками, картонными коробочками, имуществом аптеки, взлетевшей на воздух. Мы идем, с хрустом топча стекло. Железные ворота, ведущие во двор, перечеркнуты пулеметной очередью.

Фойгт в нерешительности остановился. Перед нами – ла-

герь беженцев. Шкафы, умывальники с фарфоровыми тазами, ширмы, гирлянды сохнувшего белья. На складной кровати зашевелился человек с забинтованной шеей. Кай к нему. Больной сипло закашлял. Нет, он не знает фон Шехта. Только сегодня въехал сюда.

– Ich bin total ausgebombt¹, – простонал он и закрылся одеялом.

Тягучее, заунывное пиликанье губной гармошки неслось сверху из окна. Музыка оборвалась, басовитый голос крикнул:

– Фон Шехт в шестнадцатой! Только нет его, давно нет. Сбежал, негодяй.

На нас смотрел, улыбаясь, плечистый мужчина в рабочей куртке. От гармошки, блестящей на солнце, бежали по асфальту, по шкафам, по посуде веселые зайчики.

Конечно, не следовало так громко спрашивать дорогу и называть во всеуслышание это проклятое имя. Кай должен был сам как-нибудь вспомнить. Я должен был предостеречь его... Словом, я совершил оплошность...

Мы не сделали и десятка шагов к парадной, загороженной огромной вешалкой красного дерева, с оленьими рогами, как раздался негромкий, глухой звук. Не выстрел, скорее, шелчок. Кай зашатался и упал навзничь. Я кинулся к нему, растегнул куртку, увидел кровь.

Это было так неожиданно – кровь, нападение во дворе жи-

¹ Я полностью разбомблен (нем.).

лого дома, в покоренном и уже притихшем городе, что я с минуту топтался возле Кая, беспомощно озираясь.

Сбегались люди. Что-то блеснуло, ко мне сквозь толпу протолкался немец с губной гармошкой. Он положил ее в карман; мы подхватили Кая и понесли к воротам. Водитель-сержант завидел нас из «виллиса» и поспешил на помощь.

– Везти нельзя, – сказал немец. – Надо скорее... Тут есть врач.

– Вы не видели, кто стрелял? – спросил я.

– Нет. Я ничего не слышал даже... Вижу – он упал. Проклятье! Неужели еще мало всего этого? – Он задышался от гнева. – Стрельбы, мучений...

Не доходя до ворот, мы повернули к крыльцу. Крутая, узкая лестница привела нас под самый чердак.

«Augendiagnostik», – прочел я на двери. Открыл человек в халате не первой чистоты, рыжий, поджарый, в оббитом, словно обкусанном пенсне.

Кая уложили на кушетке. Кабинет был до странности пуст. Несколько пакетов с лекарствами в поставце. Никаких инструментов, если не считать лупы на столике у кресла, небольшой, цилиндрической лупы ботаника или часовщика. И еще удивило меня огромное, в красках изображение человеческого глаза, прибитое к стене и наполовину задернутое марлевой занавеской. Признаюсь, я с некоторым недоверием следил, как Иеронимус Кимбл ощупывал Фойгта.

Раненый дернулся и провел пальцами по лицу, словно со-
гнал что-то.

– Кимбл хороший врач, – промолвил немец, помогавший
мне. – Он поглядит вам в глаза и сразу скажет, что у вас.
Тут, по этому рисунку, – он потянулся к плакату и показал
радужную оболочку, испещренную клеточками и точками, –
все можно определить. Тут все отражается.

«Хиромант какой-то», – подумал я. Немец говорил раз-
дельно, как на уроке.

– Кимбл учился в Бразилии, – прибавил он. – Глазных ди-
агностиков всего одиннадцать. Во всем мире.

Кай запрокинул голову, скрипнул зубами и еще раз согнал
что-то с лица.

– Он немец? – спросил Кимбл.

– Да, – ответил я.

Раненый затих. Кимбл сунул стетоскоп в карман и запах-
нул халат.

– Русский, немец, поляк – теперь это все равно, – прого-
ворил он в сердцах. – Мертвые не имеют национальности.
Они равны.

Кай лежал вытянувшись. Мой спутник тронул меня за ру-
кав.

– Кимбл честный врач, – сказал он по слогам. – Клянусь,
господин офицер.

– Кто его? – спросил врач.

– Соотечественник. – Немец скривил губы. – Тоже сын

Германии. Вроде фон Шехта. Боже мой, когда же это кончится!

Он не отводил от меня прямого, скорбного взгляда. Кай умер? Я не хотел верить этому. Я ждал, что Кимбл тряхнет своей рыжей гривой и бросит, улыбаясь: «Отлежится», «Через недельку встанет» – или что-нибудь в таком роде. И вдруг – умер! Убит вражеской пулей. И не вернется в свой Розенштадт. Убит в весну победы. Убит, когда все кругом взывает: довольно смертей! Когда земля, кажется, уже полна мертвецов. Не может принять их больше.

«Мертвые равны», – вспомнилось мне. Неправда! Фон Шехта тоже нет, но он умер иначе. Трупный яд останется после таких. А другие сгорают чистым огнем, освещая дорогу живым.

Тут я с болью, с ужасом поймал себя на том, что думаю так не только о Фойгте, но и о Кате. До сих пор я берег ее в своих мыслях живую, только живую. Янтарная комната, картины, экспонаты из музеев – все это было для меня как бы вне войны. Смерть Кая словно толкнула меня обратно на передний край.

Точно в тумане замелькали передо мной санитары, натянувшийся холст носилок и наш эскулап, склонившийся над телом. «Ранение смертельное», – услышал я. Кая вынесли. Я спустился во двор.

Двор шумел. Немцы, собравшись в кучки, обсуждали происшедшее. Гельмут Шенеке – так звали моего нового знако-

мого – шагал рядом со мной, сунув жилистые руки в карманы комбинезона.

– Вы не знаете Черноголовых? – басил он. – Шайка разбойников! Их надо выловить, господин офицер, всех до одного. Они погубили моего брата. Он сгинул, исчез там, в их логове. Да, люди пропадали бесследно. Это не легенда, господин офицер, это голая правда.

Вокруг нас тотчас образовалась толпа. Шенеке заговорил громче, он обращался теперь ко всем. Я почувствовал, что и мне надо что-то сказать.

– Убит честный немец. Кайус Фойгт, – сказал я. – Тот, кто убил его, – наш общий враг. И мы, советское командование, разыщем убийцу. Я буду рад, если вы окажете содействие.

Толпа одобрительно заволновалась.

Я кликнул автоматчиков, мы начали прочесывать дом.

Глава 10

Большой дом, перенаселенный, до отказа набитый беженцами. Чего только нет в нем! Две лавки – кондитерская, пивная, танцкласс, мастерские кустарей – портных, гравера, скорняка, модистки. Один портной, Назим-оглы, вывесил из окна флаг с полумесяцем; лет тридцать назад он эмигрировал из Турции, но подданство сохранил и нынче счел за благо отмежеваться от немцев. Дребезжит расстроенный рояль, стучит молоток – кто-то чинит раму, поврежденную воздушной волной. В доме убаюкивают детей, жарят салаку, штопают носки.

Кто же стрелял в Кая Фойгта?

Я попытался представить себе, как бы поступил следователь. Бакулин, например. Прежде надо, очевидно, определить, откуда был произведен выстрел. Взять в расчет характер раны, место во дворе, где находился в тот момент бедняга Фойгт.

Вот-вот Бакулин явится сам. Но можно ли терять время! По моим соображениям, получалось, стреляли из окна третьего этажа. И возможно, из крайнего окна, у стыка с домом Черноголовых.

Прихватив автоматчика, я понесся туда. «Теодор фон Шехт», – стояло на табличке. Дверь была незаперта.

Квартира фон Шехта! Все пути поиска свелись теперь к

ней; здесь, в утро штурма, была Катя. А сегодня сюда прокрался убийца...

Из передней мы вошли в обширную столовую Дневной свет свободно проникал в окна. Маскировочные шторы – скатанные, слипшиеся – были подняты очень давно. В них, значит, не было нужды. Никто не ночевал здесь. Пыль густо запорошила гигантский буфет с мрамором, с бронзовыми крылатыми львами, рояль в углу, этажерку для нот.

Запустение, холод, затхлый, нежилой дух... В спальне под картиной – котята, играющие с клубком ниток; черные котята, верно, на счастье, – полосатые матрацы двух кроватей, пустые тумбочки.

Узкая дверь под цвет розовых обоев ведет в гардеробную. Здесь Кайус Фойгт в утро штурма взял костюм фон Шехта и его плащ, переоделся. Да, вон в углу его солдатский китель, брюки. С тех пор, похоже, никто не тревожил гардеробную. На вешалках – вещи мужские и женские, поношенные, покинутые за ненадобностью.

Конечно, мы перевернули матрацы, обшарили все углы в спальне и в других комнатах. Никого! Преступник если и был здесь, то не оставил следа!

Фон Шехт забросил эту квартиру давно, задолго до своей смерти, скорее всего, перед войной. В кабинете, в ящиках стола, – ни единой бумажки. На столе телефонная книга 1939 года, медная коробка с крупинками трубочного табака. Я понюхал их. Они почти утратили запах.

В камине – слежавшаяся зола...

Кабинет примыкал к библиотеке. Дверь в нее была заперта, пришлось взломать ее. От стеллажей с книгами тянуло плесенью. Я снял одну книгу в переплете из свиной кожи. Руководство для шахматной игры, напечатанное в Амстердаме в семнадцатом веке.

– Товарищ лейтенант! – услышал я.

Молодой автоматчик, раздурманившийся от усердия, протягивал мне какой-то предмет.

Берет. Обыкновенный синий берет. Я взял его. В глаза бросилась брошка, знакомая галалитовая брошка в виде листка. Кленовый листок!

– В спальне, товарищ лейтенант, – объяснял автоматчик. – Под зеркалом...

Впопыхах я и не заметил там зеркала. Берет лежал на полочке – в слое пыли отпечатался кружок. Но и под беретом тоже была пыль, столько же пыли, и, значит, берет положен недавно. Ну, разумеется, две недели назад, перед штурмом.

Катин берет!

– Я смотрю, женская вещь, – доносился до меня бойкий басок автоматчика. – Мужчине на голову не налезет...

Катин берет!

Стремительные шаги звучали из парадной, на лестнице. Я вдруг сообразил – это Катя! Она вбегает сюда, живая, веселая, в своей зеленой курточке... Шаги пронеслись мимо. И вместе с ними мгновенно улетучилось видение.

Немного спустя лестница загудела, грохот кованых сапог вторгся в переднюю. Вошел Бакулин.

Наконец-то! Торопясь, глотая слова, я выложил ему все: сведения, данные Фойгтом, обстоятельства его гибели, результаты моих поисков. Бакулин спросил меня, откуда, по моему мнению, стрелял убийца.

– Из библиотеки, – сказал я.

– Показывайте. Ага, отсюда? – Он выглянул в окно. – И я так прикидываю, третий этаж. Высота сомнений не вызывает. Но ты все же не очень наблюдателен, Ширяев. Видишь, простыни висят? Попробуй прицелиться!

– Но может быть...

– Висят с утра, – усмехнулся Бакулин. – Эх, разведчик! Водой, что ли, освежись.

Значит, Бакулин уже действует. Уже опросил немцев во дворе. Тем лучше.

– Вот из окна левее, – продолжал он, – можно было... А отсюда стрелявший не мог вас видеть за простынями. А? Не так ли?

Жизнь во дворе между тем вернулась в свою колею. В кастрюлях булькали супы. Портной-турок, распахнув забитые фанерой окна, звал своих детей – Ганса и Мухамеда – обедать.

– Левее дом Черноголовых, – сказал я. – Заколоченный. Но надо заглянуть.

– Успеем. Я поставил солдата наблюдать. Кто взломал

дверь?

– Мы.

– А парадная была отперта?

– Да. Еще Фойгт заходил...

– Понятно. Парадная – настежь, а библиотека – на замке.

Достоинно внимания...

– Ценные книги, – сказал я.

– Резонно. Допускаем.

Потом он долго осматривал спальню и зеркало с полочкой, где Катя оставила свой берет.

– Не видел зеркала? Пролетел мимо? Нет, следователя из тебя не выйдет. А вот она нашла зеркало. Волосы поправляла, наверное. О чем это говорит?

Зеркало – старинное, в овальной рамке красного дерева, с подставками для свечей по бокам – прибито над тумбочкой. Его затеняет бельевой шкаф, стоящий ближе к окну.

– Заметь, Ширяев, стекло протерто. И не наспех, посередине, а вся поверхность. Зеркало чистое. Стало быть, Мищенко была спокойна тогда. Опасности не ощущала. Фойгт ведь не обнаружил признаков борьбы? Он был прав.

– Так что же случилось с ней?

– Если бы я мог ответить, Ширяев! – вздохнул Бакулин. –

В том-то и загвоздка.

Входная дверь скрипнула. Вошел лейтенант Чубатов из контрразведки – года на два моложе меня, белобровый, крепкозубый. Я недолюбливал его. Мне казалось, что Чуба-

тов важничает.

Как я теперь понимаю, ему просто хотелось быть старше своего возраста. Тем более в тот день. Ему дали задание, которое, наверно, досталось бы офицеру более опытному, не будь мы в Кенигсберге, где чекисты и без того были заняты по горло.

Чубатов очень мало знал о Кате. Я заговорил о ней и, должно быть, увлекся.

– В каких вы отношениях с Мищенко? – спросил он.

Я смешался, и Бакулин ответил за меня:

– В служебных.

– Разрешите, товарищ майор, – тихо сказал Чубатов, – пусть лейтенант сам даст оценку.

– Майор вам сказал, – буркнул я.

Бакулин улыбался. Он видел то, чего я не мог заметить. Чубатов очень боялся ударить лицом в грязь. Бакулина он немного стеснялся. Оттого и слова произносил вымученные, казенные.

– Ширяев, мне думается, лицо не беспристрастное, – услышал я.

– Он справляется с делом, – возразил Бакулин добродушно, с усмешкой.

«Что, выкусил?» – Я с торжеством взглянул на Чубатова.

Потом оба они вооружились лупами и принялись изучать пол. С полчаса длилось это. Бакулин выпрямился и опустил на письменный стол бумажку. Белые кристаллы блестели на

ней.

– Сода, – объявил он.

– С улицы нанесли, – вспомнил я. – Напротив же аптека была...

– Знаю, знаю, – улыбнулся Бакулин. – Сходи, Ширяев, достань нам соды с мостовой. В темпе! Одна нога здесь, другая там.

Я стремглав кинулся выполнять приказание. Но увы, как ни старался, как ни искал, соды обнаружить не мог. Под каблуками моими трещали битые пузырьки, картонные и жестяные коробки, остатки колб, пробирок, градусников. В ямке застоялась лужица, вода в ней была малиновая. Точно так же выглядел раствор марганцовки, которым я полоскал рот в медсанбате, после того как мне выдернули зуб.

Сода тоже растворяется в воде, сообразил я. Позавчера был сильный дождь, соду смыло. Значит, не мы принесли соду на ногах в квартиру, а Катя, Бинеман или Кай. Бакулин это и хотел установить. Но для чего?

– Ни крупинки? – бросил Бакулин, завидев меня. – Так я и думал.

– Товарищ майор, – спросил я, – в библиотеке тоже сода на полу?

– Э, да он делает успехи. – Бакулин откинулся в кресле. – Ты понимаешь, Ширяев, Бинеман запер за собой дверь библиотеки. А парадную оставил открытой. Бинеману надо было создать впечатление, что он не был в библиотеке с Катей.

Что его влекло сюда? Не книги же! Ну-ка, покажи нам, Ширяев, какие ты брал книги!

Я показал.

– Остальные стоят, как стояли месяцы, может, годы. Вон пылица на полках! А, кроме книг, что тут ценного? Ничего! Бинеман и Катя были здесь, мирно беседовали, а затем...

«Катя и Бинеман были здесь, – думал я. – Они мирно беседовали, а затем... Да, все к одному, библиотека где-то общается с домом Черноголовых».

Где?

Мы сняли книги с полок, потом отцепили стеллажи, Чубатов начал выстукивать стену, Бакулин закатал ковер, вынул лупу и опустился на колени.

Работали мы часа полтора. Бакулину пришла мысль, что след в библиотеку ложный, подстроенный Бинеманом нарочно. Однако искомый ход, потайной выход, оказался именно там. И не в стене, а в паркетном полу, под ковром. Только с помощью лупы удалось найти очертания люка.

Кликнули солдат с топорами; они выломали пол. Под ним оказались железные ступени.

Первыми сошли на лестницу два автоматчика, потом Бакулин, Чубатов и я. Ступени вели круто вниз, по узкому коридору. Он пробивал толщу могучей старинной стены.

Свет сочился из круглого проема – амбразуры. Майор выпрямился, на ладони его блеснула маленькая медная гильза. Да, убийца стрелял отсюда. Он, очевидно, тотчас ушел по-

том через комнаты фон Шехта.

Лучи фонарей скользили по гранитной кладке. Гранит был темно-серый, отесанный грубо, ударами тяжелого ручника. Белыми жилками выделялись пазы, и Бакулину вспомнилось давно читанное: в старину в раствор, скреплявший камни, добавляли для прочности яичный белок.

Кое-где рука средневекового камнетеса высекла крест или треугольник в лучах – символ божьего ока. А в одном месте луч выхватил надпись «Gott mit uns», ныне в вермахте повторенную на солдатских пряжках.

Снизу, из самых недр дома Черноголовых, несся неясный гул. По мере спуска он звучал громче.

– Вода, – произнес один из автоматчиков. Лучи фонарей, впереди тонувшие в кромешной черноте, коснулись вскоре пенистой поверхности потока. Он несся в подземных гранитных берегах, плескался, обмывал ступени.

Моя ладонь легла на перильце. Оно вибрировало. От напора воды мелкая дрожь расходилась по металлу, отзывалась болью во всем моем существе.

Широкая каменная арка с крестом на вершине – вход в туннель – неустанно, со свистящим шумом втягивала буйную, непроницаемо-темную воду.

Глава 11

Вода реки Прегель затопила подземелья Кенигсберга через несколько минут после того, как залпы наших орудий и «катюш» возвестили начало штурма. Приказ открыть шлюзы был составлен немецким командованием заранее. Он преследовал две цели – лишить наступающие советские войска подземных путей и скрыть, вывести из строя многочисленные сооружения: военные предприятия, жилые помещения, склады оружия и боеприпасов.

Я знал об этом, когда стоял над стремниной, сжимая перильце. Оно отдало свой холодок, сделалось горячим, намокло от пота, – я все смотрел в пенистые водовороты.

Дорога поиска оборвалась, потонула...

Вызвать водолазов! Я представил себе людей в скафандрах, спускающихся в поток, разыскивающих труп Кати. Я нагнулся, погрузил руку – вода схватила ее словно ледяными зубами, отбросила. Нет, водолазы ни к чему. Я размял пальцы, онемевшие от холода. Если Катя попала сюда, ее отнесло течением далеко отсюда, бог весть куда.

Подавленные шли мы наверх. Низкий каменный свод словно ложился на плечи...

– Завтра осмотрим все подробнее, – сказал Бакулин, когда мы снова очутились в кабинете фон Шехта.

Но он не отпустил нас. Он размышлял вслух, взволнован-

ный открытием. Когда же немцы затопили подzemелье? В восемь часов пятнадцать минут, то есть четверть часа спустя после начала нашего артиллерийского наступления.

В это время Катя и Бинеман были в квартире фон Шехта, а Кайус Фойгт ждал их на улице в своем «опеле». Люк в полу, возможно, был открыт, Бинеман уловил шум хлынувшей в подвалы воды. Впрочем, он, как и многие офицеры штаба, наверняка знал о приказе.

Конечно, с началом штурма многое в положении всех троих – Бинемана, Фойгта и Кати – изменилось.

План побега из Кенигсберга рухнул. Что оставалось Бинеману – хищнику Бинеману, грабившему вместе с фон Шехтом и присными оккупированные земли? Прятаться от возмездия, быстрее сменить личину, скрыться в городе.

Теперь Катя для него – враг. Она, советская девушка, служившая немцам, выдаст его, выдаст, чтобы облегчить собственную участь!

Катя тоже слышит канонаду. Чтобы скрыть радость, она идет в спальню к зеркалу, снимает берег, поправляет перед зеркалом волосы. Привычные движения помогают прийти в себя. Бинеман зовет ее. Они оба спускаются в люк. Крови на лестнице нет. Катя сошла вниз, Бинеман немного отстал и...

Возможно, Катя сама, почувствовав угрозу со стороны Бинемана, ускорила шаг, решила оставить его позади. И вода, хлынувшая внезапно, унесла ее. Или Бинеман все же выстрелил в Катю – там внизу, и вода смыла следы...

Бинеман поднимается, закрывает за собой люк, кладет на место ковер, запирает библиотеку. Одного свидетеля он устранил, но есть еще другой – Фойгт. И Бинеман возвращается к машине, чтобы расправиться с ним.

Знать бы, куда делось тело Бинемана! Верно, немцы или наши бросили в яму, забросали землей, битым кирпичом. Много таких могил.

Пистолет Бинемана мог бы открыть еще кое-какие подробности. Но вот что гораздо важнее – бумаги Бинемана.

У него был план! План тайников, куда гитлеровцы свозили музейные сокровища.

«Лежит, верно, вместе со своим хозяином», – подумал я, слушая Бакулина. Кто тогда, в разгар боев, стал бы обыскивать убитого, рыться в документах!

Потом Бакулин заговорил о новом поиске, в связи с гибелью Фойгта. Я почти не слышал. Я думал только о Кате.

Что же, считать погибшей? Неужели Бакулин напишет эти страшные слова как итог наших стараний, наших надежд?

Нет! А если она все-таки спаслась? На войне я видел не только смерть, не раз при мне в самом пекле боя. на земле, сплошь перепаханной рваным железом, держалась жизнь. Чудом ограждала она своих избранников. Я сам бывал у смерти в когтях. А взять семерку, знаменитую семерку разведчиков, о которой слава шла по всему фронту; всего семеро человек, вооруженных гранатами, против железобетонного форта, считавшегося – как и все кольцо защиты Ке-

нигсберга – неприступным. Огонь крепости, по логике вещей, должен был стереть в порошок храбрецов. Однако они нашли «мертвое» пространство, забрались на купол, и гранаты, связки гранат, брошенные в вентиляционные колодцы, вывели из строя немецкий гарнизон, ни много ни мало – девяносто штыков...

Раздумья мои прервал старшина из разведки. Он принес пулю, вынутую из тела Фойгта. Бакулин достал из кармана гимнастерки гильзу. Так и есть! Убийца стоял под люком, целил из амбразуры.

– Стрелок он отличный, – сказал майор. – На тридцать шагов и наверняка насмерть. Из такого оружия к тому же... Маленький «манлихер» – это же старая система, невоенная даже...

– Товарищ майор, – вставил я. – Я не докладывал вам? У Мищенко, – при Чубатове мне почему-то трудно было сказать «Катя», – был как раз такой. Фойгт говорил...

– Вот как! Любопытно.

Тут Чубатов, до сих пор хранивший молчание, поднялся с кресла.

– Неясность, товарищ майор. Эх! – Он вздохнул и потер лоб. – Поведение Мищенко, понимаете...

Что он еще надумал? Слово «поведение» кольнуло меня. А Чубатов тер лоб, как школьник, которого вот-вот вызовет педагог. И надо, стало быть, вспомнить все, что знаешь. Напускная солидность слетела с него.

– Поведение Кати ясное, – сказал я. Теперь я могу назвать ее по имени, мне стало легче с Чубатовым.

– Данных мало... Меня вот что смущает... Вы как условились с Мищенко? Проследить за имуществом, так? Которое самое ценное, верно? За Янтарной комнатой. И всё. Потом беречь себя и ждать наших. Верно, товарищ майор?

Чубатов перестал стесняться и заговорил проще. Куда же он клонит?

– На улице Мольтке она была, – значит, задача выполнена. Местонахождение янтаря известно. Сама же присутствовала, когда зарывали ящики.

– Правильно, – кивнул Бакулин. Чубатов явно нравился ему, а я весь напрягся. – Ну, дальше-то что?

– Я из фактов исхожу, – сказал Чубатов и вопросительно поглядел на майора. – Дело свое она сделала. Так нет, вместо того чтобы отвязаться от своих начальников, она... Она дает себя увлечь сюда.

Никак, он обвиняет Катю? В чем? Пусть выскажется до конца.

– Ну и в этой же связи... – он опять потер лоб, – мы искали признаков борьбы, насилия. Их же нет...

Ах, вот в чем дело!

– Так, так, – выговорил я. – Дает себя увлечь, говорите... Складно у вас получается...

От ярости у меня онемели губы.

– Спокойнее, Ширяев, – сказал майор.

– Я спокойно... Глупость, вот что... Он считает, Мищенко убила Фойгта и сама с ними... Не смеет он так о Кате...

– Личные ваши чувства... – начал Чубатов, и тут я окончательно взорвался.

– Ложь! – крикнул я. – При чем тут личные?.. Ложь!

Я вскочил. Право, не знаю, зачем я вскочил с кресла. Должно быть, хотел убежать в другую комнату, не слышать Чубатова.

– Куда? – окликнул меня Бакулин и поднялся. – Стоять смирно! Черт знает что такое! Мальчишка! – Он перевел дух. – Сутки домашнего ареста!

Глава 12

Представляете себе, каково мне было! В самый разгар поиска меня обрели на безделье, на горчайшее одиночество. Можно ли придумать более суровое наказание!

Теперь все кончено для меня. В глазах Бакулина я упал. Больше я ему, верно, не нужен. Какой от меня толк! «Эх, разведчик, водой, что ли, освежись!» – ожило в памяти. За мной и без того масса упущений, а тут еще нелепая стычка с Чубатовым. Скверно!

После убийства Фойгта поиск стал сложнее. Словом, мне уже нет места.

В то же время я не переставал думать о Кате. Мысли мои о Чубатове, о Бакулине, о собственной жалкой судьбе вращались вокруг нее, как по орбите. Невзирая ни на что, я видел ее живой. Да, я верил в чудо.

Времени для размышлений у меня было достаточно. Читать разрешалось, но книга валилась из рук. С тоской я смотрел на улицу из своего номера в гостинице средней руки, где офицерам отвели жилье. Не раз, впав в отчаяние, я порывался бежать к Бакулину, умолять его о снисхождении. Нет, нельзя! Я убеждал себя снести кару безропотно и даже усилил ее – запретил себе курить: пачку сигарет смял и выбросил.

На улице возле булочной собирались немки, судачили о

домашних своих делах. Не спеша, вразвалочку прошагали под окном два солдата. Один насвистывал. А ведь самое главное сейчас – это узнать, что с Катей. Эти солдаты, эти немки в коричневых пальто с взбитыми, гвардейскими плечами понятия не имеют, что где-то, может быть, очень близко, Катя. Лежит в бреду у чужих или томится в каменных стенах, ждет помощи.

Нет, надежду я берег. Я цеплялся за нее вопреки всему. Да, Фойгт, весьма вероятно, убит из Катиного «манлихера», отнятого у нее... Все равно это не значит, что она погибла.

А если она попала в воду? Тогда конец.

И все-таки нет, видел я ее живой...

Пока я томился под арестом, в доме на Кайзер-аллее происходили важные события.

Обследование дома Черноголовых с утра возобновилось. Квартира фон Шехта стала командным пунктом операции. В полдень, когда Бакулин и Чубатов сидели в кабинете, отдыхали и курили, послышался страшный гвалт.

На самой середине двора бился человеческий сгусток. Он разрастался; к нему со всех концов, обрывая веревки с бельем, опрокидывая ведра, кувшины с водой, керосинки, сбегались немцы. Понять что-нибудь было невозможно. Чубатов выбежал на лестницу, уже гудевшую от топота.

Впереди понимались трое: наш знакомый Шенеке и еще один мужчина в кителе железнодорожника вели под руки юнца лет семнадцати в кургузом рыжем пиджаке.

– Щенок! – раздавалось в толпе. – Теперь не уйдет!

– Мало им крови!

– Негодяи! Когда конец этому?

Бакулин поднял руку. Немцы утихли. Шенеке, держа перед собой в обеих руках фуражку, степенно выступил вперед.

– Он стрелял вчера, господа офицеры, – сказал Шенеке. – Он! Сам не отрицает.

– Немец в немца! – отозвался кто-то. – Бог мой, этого нам и не доставало. Только этого...

– Мир сошел с ума.

– Тихо! – произнес Шенеке командным тоном. – Дело было так, господа офицеры. Утром после завтрака, да, сразу после завтрака, мне говорят, что объявился какой-то молодчик, шныряет по квартирам и сеет панику. Будто в доме заложены мины замедленного действия и все мы должны в шесть часов вечера – да, точно в шесть часов – взлететь на воздух. Значит, через час. Ну, мы – я и Курт, – он указал на приземистого мужчину с квадратным подбородком, по виду тоже рабочего, – решили, что молодчик сам замешан в этой истории, коли болтает такое.

– So, so, – подтвердил Курт.

Юнец стоял перед Бакулиным нагло, выпятив живот, но видно было, что поза давалась ему нелегко, – он дергался, кривил губы, на лбу под жесткой белокурой кудряшкой блестел пот.

– Вы стреляли? – спросил его Бакулин.

– Я. – Он рывком откинул назад голову. – Я стрелял!
Я... Я... Я не боюсь вас...

Толпа зашумела.

– Немец в немца, – повторил кто-то со скорбью. – О боже!

– Он не немец! – выкрикнул юнец. – Предатель! Слышите вы? Вы тоже... Вы...

Он рванулся. Шенеке и еще двое схватили его. Он забарахтался и обмяк.

«Гитлеровский выкормыш, – подумал Бакулин. – Истерик. Отравлен с детства. А был бы красивым, здоровым парнем, если бы не нацисты».

– Ваше имя? – спросил майор.

Молодчик не ответил. Он шатался как пьяный; его держали под мышки.

– Вернер Хаут, – сказал Шенеке. – Сынок хозяина аптеки. Разбитой аптеки в доме напротив. В бывшем доме, – добавил он методично. – Говори, Хаут! – Он тряхнул молодчика за плечо. – Говори, раз ты не боишься, ну! Он состоял в фольксштурме, господа офицеры, он из самых отпетых. Тут у него тетя, в тридцать седьмой квартире. Шарлотта Гармиш. У нее мы и взяли его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.